2 МАЯ 1990 г.
№ 18 (5292)
ЦЕНА 20 коп

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

1

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1830 г. ПРИ УЧАСТИИ А. С. ПУШКИНА. ИЗДАНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНО В 1929 г.

ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ

С ПЕРВОМАЕМ-

ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, НАДЕЖДЫ И ОБНОВЛЕНИЯ!

ЛИЦО ЕЕ ПРЕЛЕСТНО И БЕСПЕЧНО. ВРЕМЯ НЕ УСПЕЛО ОСТАВИТЬ НА НЕМ ЖЕСТОКИХ ПИСЬМЕН. ОНО ЧИСТО И ЕЛАДКО, КАК БЕЛЫЙ ЛИСТ БУМАГИ, НА КОТОРОМ КОГДА-НИБУДЬ ЗАПЕЧАТЛЕЮТСЯ РАДОСТИ И ГОРЕСТИ, ВСЕ СТРАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ...

ОНА ВСЯ — ДОВЕРИЕ И РАДОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ И ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Из книги Юрия НАГИБИНА и Михаила ТРАХМАНА «Счастья вам, люди!»

О ВЕЧНОМ И СУЕТНОМ

РАЗМЫШЛЯЮТ:

Булат ОКУДЖАВА

Андрей БИТОВ

Юрий ЧЕРНИЧЕНКО

Алесь АДАМОВИЧ

стр. 3, 4, 10, 12

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЖИТЬ СВОБОДНЫМ СРЕДИ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ

Перелистывая изданные у нас недавно «Нравственные письма» Сенеки, натыкался я на высказывание: я хотел бы жить свободным среди свободных людей.

Меня поразило, что два тысячелетия назад люди испытывали ту же жажду и ту же тоску, которую чувствуем и мы сейчас. Можно попробовать обрести личную свободу, примкнув к элите — к богатым, благополучным, преуспевающим. Можно отправиться в поисках большей свободы в дальние пределы. Но достойная цель — обретение личной свободы в своей стране в среде свободных людей.

Я никогда не верил, что Россия обречена самой историей на несвободу. Не верил утверждениям Руссо, что в России никогда не будет демократии. Мне больше импонирует мысль Н. Бердяева: «Добыть себе относительную общественную свободу русским трудно не потому только, что в русской природе есть пассивность и подавленность, но и потому, что русский дух жаждет абсолютной Божественной свободы».

Принеся неслыханные жертвы своей мечте о невиданном рае на земле, мы сильно опоздали на стремительно летящий поезд мировой цивилизации. Но вся наша великая культура от Толстого и Достоевского до Кандинского и Прокофьева — свидетельство затаенной силы нашего духа. Мы слишком долго приносили свободу в жертву дурно понимаемому равенству. Настало время раскрепощения и обретения свободы. Каждым писателем, каждым ученым, рабочим, земледельцем, каждой семьей, каждым коллективом, каждой нацией, всей страной.

Это главное, что мне хотелось бы сказать в ответ на вопросы читателей о личной позиции нового главного редактора «ЛГ». Великим символом либерализма стала деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова. Я счастлив, что успел сказать ему об этом публично за несколько часов до его безвременной кончины. Либерализм в моем понимании связан с возвращением к социал-демократическим истокам в их современном истолковании. Личные права, национальный суверенитет, гарантии обездоленным слоям, открытое общество, сбросившее с себя вериги несвободы, изоляции, исключительности, общество, возвращающееся в мировую цивилизацию, — это идеал, которому мы будем служить верно.

Думаю, что коллектив «Литературки» и секретариат правления СП СССР, которые предложили мне возглавить газету, знали, что они приглашают определенное направление, а не просто нового редактора. В условиях, когда «ЛГ» стала сдавать прежде завоеванные позиции, когда ее все больше опережали и теснили более живые и активные, а иной раз более шумливые конкуренты, понадобился поворот газеты. Понадобилось движение по новому руслу.

Мы хотим продолжить лучшие традиции поколений талантливых журналистов «ЛГ» и ее редакторов. Но в отличие от прошлого сейчас мы стоим обеими ногами на почве реформаторства, радикальных общественных перемен, уходящих в толщу народной жизни и общественного сознания. Предтечей таких перемен были доклад Никиты Хрущева о преступлениях Сталина на XX съезде партии, «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.

Пятилетний опыт перестройки, начатой М. С. Горбачевым, показал, насколько трудное дело — демократизация в недемократическом обществе. Об этом шла речь и на многочисленных встречах президента с трудовыми коллективами Урала. Мы хотим и будем активно помогать перестройке, но не шумливо-радикальной и не псевдореволюционной. Нашу позицию лучше всего выражает принцип плюрализма — многопартийности в политике, смешанной собственности в экономике, свободного состязания различных направлений в культуре.

Гласность уже пробила огромную брешь в области духовной свободы. Перестройка, если иметь в виду ее важнейшую цель, призвана гарантировать экономическую и социальную свободу каждому человеку. Сейчас часто спорят о том, какой строй у нас построен и какой строй надо строить. Думаю, что нет более унылого занятия, чем искать ответ на подобные вопросы, перечитывая снова и снова те или иные, даже самые авторитетные книги, статьи и речи. Да и не надо ничего «строить» сверху по каким-то наспех заготовленным новым схемам. Надо только снять все препоны для инициативы снизу. Не мешать людям заботиться о себе, тогда будет богатеть и каждая семья, и каждый коллектив, и все общество.

Остроумно замечено: мы живем, как работаем. Но не менее справедливо и другое: мы работаем, как живем. Главный ответ на острые вопросы нашего бытия следует спрашивать не у прежде живших, а у ныне живущих поколений. Главная мера завоеваний перестройки — это новые условия для раскованной деятельности человека, полное вознаграждение за его труд без всяких произвольных изъятий. Иными словами, это благосостояние и культура людей, это цивилизованная жизнь.

Сейчас модно говорить и писать о кризисе — национальном, социальном, политическом, культурном. Слово «кризис» стало такой же разменной монетой, как некогда слова о «превосходстве» нашей системы. Но кризис не обязательно предвестник катастрофы. В большинстве случаев это предвестник назревших преобразований. Так было в период нэпа у нас, так было в период нового курса в Соединенных Штатах. Газета постарается помочь читателю в поиске ответа на вопросы — куда идти, что делать.

Со всех сторон, особенно в писательской среде, мы улавливаем настороженным ухом беспокойство — не станет ли газета органом какой-то одной группы, одного литературного и гражданского направления. Не станет. У нас есть своя позиция, но у нас нет предубеждений. Любое честное и талантливое слово найдет свое место на страницах газеты. Мы целиком принимаем советы возвыситься над групповыми страстями и амбициями, которые выглядят ничтожно в этот драматический час в истории Родины.

Мы постараемся в полной мере выражать все лучшее, что есть у многоголосья нашего писательского цеха, нашей культуры, среди нашей интеллигенции и широкой читательской массы. Вероятно, нам придется иной раз печатать и статьи, не свободные от групповых страстей, — напор слишком велик, и не всегда ему удается противостоять. Но заявляем заранее, «Пристрастные заметки» (специальная рубрика, которую мы открываем) будут выражением личного мнения авторов, а не позиции редакции.

Мы постараемся делать интересную, действительно литературную газету. Газету, в которой читатель будет находить не только информацию — люди сейчас задыхаются от ее изобилия. Не только постановку общественно важных проблем — хотя это сейчас чрезвычайно важно, — но и талантливое слово, впечатляющий образ, острую мысль. Газету, которая будет не только будоражить изболевшиеся души, но и доставлять эстетическую радость. Да что там говорить — мы полны желания перемен, полны стремления споспешествовать свободной жизни каждого человека в среде свободных людей.

Кто правит бал в Москве

Гавриил ПОПОВ, народный депутат СССР, председатель Моссовета, отвечает на вопросы обозревателя «ЛГ» Л. ВЕЛИКАНОВОЙ

— Москва предстоит начать жить в условиях рыночной экономики. Какие трудности, конфликты вы предвидите? Одно из основных условий функционирования рынка — самостоятельность, в том числе и даже в первую очередь — именно местных властей. Имея это в виду, хотелось бы понять, как будут в новых условиях строиться взаимоотношения Моссовета с республиканскими союзными органами, с Совмином, например.

— Вначале о главном, о системе жизнеобеспечения жителей Москвы в условиях рынка. Чтобы она работала, нужно оценить, что Москве необходимо получить со стороны и что она может стране дать.

Москва нуждается в водоснабжении, электроэнергии, газе, в продовольствии, товарах, медикаментах. Короче, есть вполне определенный перечень того, что москвичи должны получить извне. В то же время реальные потребности города меньше тех, на которые рассчитан нынешний ввоз. Это, может быть, заучит парадоксом: полки магазинов пусты, — тем не менее это так и есть.

В прошедшие десятилетия, стремясь превратить Москву в своеобразную витрину бюрократического социализма, ее больше других насыщали вещами и продовольствием. А страна, вынужденная поставлять в Москву произведенные ею продукты, ехала вслед за ними сюда же, чтобы их купить. Москва превратилась в своего рода распределитель. Эта перевалочная функция оказалась не такой уж безобидной. Как всякое неверное политическое и экономическое решение, она принесла огромный вред, стала базой теневой экономики, коррупции, развития различных форм взяточничества.

Зачем продавать, допустим, дешевое мясо через магазины в небольших количествах отдельным покупателям, приехавшим со всех концов страны, если можно торговать всем этим оптом, через перекупщиков, за доплаты к цене?

Все делалось очень просто. Нераспакованные контейнеры стояли на подмосковных станциях, забивая их. Московские жители не могли понять, почему неделями (и дольше) эти контейнеры не разгружаются. А контейнеры и не должны были разгружаться, они целиком уходили в те города или республики, куда их перепродавали.

Возникло интересное явление. В нарушение всех официальных социалистических законов, по существу, восстанавливалась справедливость: продукты и изделия возвращались туда, где их создавали, развивались прогрессивные формы современного оптового распределения. Но эти прогрессивные формы были кор-

румпированными, теневыми, в результате чего на них обогащались не страна не народ, а дельцы теневой экономики.

Сломать эту систему может и должна нормальная рыночная экономика. Но ломка ее потребует реального взгляда на то, что же действительно нужно Москве. Потому что за все привезенное надо будет платить.

Теперь о взаимоотношениях Моссовета с союзными и республиканскими органами. Их должны определить два закона — о статусе Москвы как столицы всей страны и столицы Российской Федерации. Насколько это необходимо, показывает недавний Указ президента, касающийся регламентации демонстраций и митингов в пределах Садового кольца. Я сейчас не говорю о том, соответствует ли он Конституции — это дело Комитета конституционного надзора, который пока молчит.

● ОКОНЧАНИЕ НА 2-Й СТР

«АПРЕЛЬСКИЕ» ПЛАНЫ

Накануне майских праздников состоялся учредительный съезд Всесоюзной ассоциации «Апрель» (Писатели в поддержку перестройки). Съезд открылся выступлениями Ю. Черниченко и А. Нуйкина, лидеров московского «Апреля» — инициатора созыва съезда. Делегаты обсудили проект положения о будущей ассоциации, избрали ее Координационный совет, затронули множество наболевших вопросов жизни общества и литературы.

Репортаж со съезда читайте в следующем номере «ЛГ».

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

ЧИТАТЕЛЮ, КАК УПРОЧИТЬ НАШУ МОЛОДУЮ ДЕМОКРАТИЮ, КАК СТАТЬ ПОЛНОПРАВНОГО ХОЗЯИНА ЗЕМЛИ? ПОКОНЧИТЬ С ЗАСИЛЬЕМ АППАРАТА? ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ В НАШУ ДУШУ И В НАШ ДОМ? ОБ ЭТОМ — ВСЕ 16 СТРАНИЦ "ЛГ".

ПУЛЬС ОТ НАШИХ ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ

Ради личной безопасности ВСЕХ

В прошлом номере «ЛГ» рассказала о судьбе генерал-майора Л. И. Шершнева, участника афганской войны, ставшего уже в наши дни в силу ряда причин неугодным высшему военному руководству. Исходя, в частности, из анализа возникших в стране многочисленных конфликтных ситуаций на основе межнациональных отношений, генерал предложил создать «межведомственную службу обеспечения социально-психологической безопасности населения в экстремальных ситуациях».

28 апреля в общественно-политическом центре на Цветном бульваре прошла учредительная конференция нового Фонда национальной и международной безопасности. Несколько часов выступали видные философы, юристы, международники, представители деловых кругов. Все без исключения — за появление неправительственной исследовательско-внедренческой общественной организации, тут же фонду предлагалась интеллектуальная и материальная поддержка.

Механизм защиты граждан, этнической и национальной, социальной и экономической, военной и международной безопасности будет располагать возможностями для преодоления негативных явлений в нашей жизни. Итак, на первом этапе Леонид Иванович Шершнев победил. Но работа ему предстоит нелегкая и объемная. Коллектив Воентехиниздата, где он начальник политотдела, поддержал его, избрав кандидатом в делегаты на XXVIII съезд КПСС.

Г. АПРЕСЯН

Куда уходит АППАРАТ?

В КАЗАНИ — СЕНСАЦИОННЫЙ СЛУХ: ЯКОБЫ БЫВШИЙ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПСС А. БУЛАТОВ ЯВИЛСЯ В БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ В ПОИСКАХ ВАКАНСИИ...

Но не торопитесь с выводами. Вот пример. Ликвидирован сельхозотдел, в котором трудилось четырнадцать человек. Восемь из них ныне пребывают в штатах обкома, ждут своей судьбы. Заведующий отделом П. Кочкин здания обкома также не покинул: стал замзавом в социально-экономическом отделе. Его бывший заместитель переместился в агропром, стал заместителем председателя республиканского комитета. Остальные номенклатурные работники то же разбрелись по конторам. И лишь один решил возглавить совхоз в пригородном районе. И то — возглавить.

Так что аппарат отступает, но не сдается. А что касается бывшего партийного лидера А. Булатова, то слух о поиске им места в жизни, конечно же, оказался ложным. Не прошло и двух недель после его освобождения от должности со строгим партийным взысканием, как он был назначен на должность генерального директора республиканского объединения по производству мяса. Неплохое местечко по нашим нелегким временам, не правда ли?

Ж. МИНДУБАЕВ,
соб. корр. «ЛГ» по Поволжью

ПОЧТА «ПУЛЬСА»

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ *мифотворчеством...*

В «Литературной газете», № 10 от 7 марта опубликована статья Р. Гальцевой и И. Роднянской «Спор — вопреки участникам?». Основная ее мысль, что статью А. Сахарова «О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Союза» публиковать не следовало и что это сделано вопреки воле автора. Как подтверждение в сноске указывается, что А. Сахаров не включил эту статью в сборник «О стране и мире» в 1975 году. Это утверждение неверно. Во-первых, сборник вышел в 1976 году. Во-вторых, обсуждаемая статья в нем есть. Посылаю копию титульного листа сборника и копию оглавления, так как, видимо, авторы статьи «Спор — вопреки участникам?» сборника не видели. Это мое частное замечание, думаю, разрушает их концепцию. Но более общее: неужели все еще кому-то хочется замалчивать Сахарова? Разве мало двадцати лет, когда в СССР не было опубликовано ни одной его статьи?

Я лично вижу свой долг в том, чтобы опубликовать все им написанное, кроме разумеется, того, что специально оговорено и того, что сочту личным.

Мне, как и авторам статьи, хотелось бы видеть опубликованной не только статью Андрея Дмитриевича, но и письмо «Вождям Советского Союза» Александра Исаевича. Но я не хочу обсуждать волю автора. Однако я не считаю, что полемика между ними окончилась в 1975 году. К сожалению, советский читатель пока незнаком со сборником «Из-под глыб», книгой А. Солженицына «Бодался теленок с дубом», его же японским интервью, данным, когда А. Сахаров был в Горьком, а также с книгой Андрея Сахарова «Воспоминания», последние слова которой он написал в ночь перед смертью. Я могу только надеяться, что все это будет опубликовано в нашей стране.

А пока мне хочется сказать (и просить) не занимайтесь мифотворчеством над еще свежей могилой. Иногда это курьезно и даже смешно. Иногда, как в данном случае, серьезно. Иногда становится более чем ошибкой. Так, один из грузинских неформальных лидеров Звиад Гамсахурдиа заявил, что Сахаров изменил свое отношение к проблеме автономии, входящих в Грузинскую ССР. Андрей Дмитриевич до последнего часа жизни работал над проектом «Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии», согласно которому все союзные республики и все имеющиеся сейчас автономные образования — республики, области и т. д. — войдут в будущий Союз на равных правах, добровольно, на условиях нового союзного договора, дающего им всем возможность делегировать союзному правительству те функции, которые каждая из новых республик сочтет для себя возможными. Никаких оговорок по поводу Грузии Андрей Сахаров не сделал.

Елена БОННЭР

АНОНС

СКОЛЬКО СТОИТ «СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО»?

Человек творческого труда... От того, в каких условиях он работает, в решающей степени зависит развитие нашей культуры, уровень научно-технического прогресса.

Редакция «Литературной газеты» обратилась к писателям, художникам, музыкантам, ученым с просьбой ответить на вопросы анкеты:

1. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, С ДОСТАТОЧНЫМ ЛИ УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ НАШЕ ОБЩЕСТВО К ЧЕЛОВЕКУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ТРУДОМ, РАСХОДУЮЩЕМУ НЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СИЛЫ, А, ТАК СКАЗАТЬ, «СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО» (В СРАВНЕНИИ, ДОПУСТИМ, С РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ ЗАПАДА)?

2. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ТЕМ, КАК ОБСТОИТ ДЕЛО С ОХРАНОЙ АВТОРСКИХ ПРАВ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ ТВОРЧЕСТВА? КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ И НЕТЕРПИМЫЕ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ?

3. В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ ПРИЧИНУ ЭТИХ НАРУШЕНИЙ — В НЕСОВЛЮДЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ИЛИ В НЕСОВЕРШЕНСТВЕ ЭТИХ ЗАКОНОВ? ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРАВА АВТОРА БЫЛИ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ?

Публикуя в качестве пролога заметку Э. Успенского, мы рассчитываем на продолжение этого разговора в ближайших номерах.

Эдуард УСПЕНСКИЙ

КОЕ-ЧТО ЕЩЕ О МОЕЙ «ЛЮБИМОЙ» ОРГАНИЗАЦИИ

Вот меня спросили:

— Как вы живете без ВААПа?

— Да прекрасно!

Сейчас я все договора заключаю сам и все проценты получаю сам. Более того, я знаю все о каждом проданном экземпляре и получаю все рецензии о моих вышедших за рубежом книгах.

Один мой договор с Японией начинали вести сотрудники ВААПа. Они хотели получить 25 процентов из моего гонорара для себя, 15 процентов отдать какой-то японской общественной организации, помогающей ВААПу, а оставшаяся часть гонорара, как это водится, была бы обложена налогом Минфина доходящим до 80 процентов.

Причем когда переговоры о договоре начал вести я сам, сотрудница ВААПа попросила меня не брать с японского издателя больше 4 процентов роялти, потому что он хороший.

Разумеется, я не учел ее просьбу и получил с него 5 процентов. Хотел шесть, но он не уступил. Не такой уж он хороший.

А каковы вааповцы? «Не берите с него много. Где вы еще увидите таких щедрых и широких сотрудников, в какой стране?»

Мне прислали письмо из Болгарии, из болгарского ВААПа. Текст приблизительно такой: «Уважаемый товарищ Успенский. Вы работаете без советского ВААПа, давайте заключим договор с нами для издательства «Художник».

Я радостно ответил: «Давайте, но только без вас, а напрямую с «Художником». Неправильно это, отвергать советский ВААП и привлекать болгарский».

Я часто думаю, а на чем держится ВААП? Почему он все-таки дает стране, а точнее, ведомствам, валюту? Да потому, что хорошо работают иностранные организации типа ВААПа. Они в срок высылают деньги нашим авторам, следят за соблюдением договоров со стороны издательств и т. д. Так что это им надо платить премию за «хорошую работу» вааповцев.

А что делают представители ВААПа за рубежом? Кое-кто утверждает, будто они трудятся в советской разведке. Считают танки и солдат в западных столицах. Когда мне европейские издатели сказали об этом, я не поверил. «Чтоб наши агенты ВААПа, живущие там на наши авторские деньги, были шпионами? Не может такого быть!» А потом узнал, что один сотрудник ВААПа, работающий в одной западной стране, например, за семь лет устроил всего один контракт на художественную литературу. И я снова подумал: «А может, может быть? Может быть, действительно наши агенты — не наши агенты, не литературные, а агентские?» В таком случае товарищи обязаны заключать пару договоров на наши самые лучшие в мире книги хотя бы для маскировки.

Какие же у меня сейчас трудности? Да все те же — Минфин не хочет открывать литературно-валютные счета советским гражданам. Я их просил:

— Откройте, я заплачу вам налоги.

А они:

— Нет. Не положено. Храните деньги в зарубежной сберкассе.

Я говорю:

— Сейчас в ФРГ с меня собираются взять налог, раз вы не берете. А там, как известно из нашей прессы, сплошные неонацисты. И это получается уже не экономическая, а политическая ошибка.

Тогда сотрудники Минфина поставили мне на налоговых немецких ведомостях печать, что означало, что они знают о моих доходах, что я не скрываю эти деньги от родного правительства. И немецкие взиматели денег отвязались. Но наши так счета в советском банке не открыли, так налога и не взяли. Вот уж поистине — «стране нужна валюта».

Вниманию ФОТО-МАСТЕРОВ!

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас к творческому сотрудничеству с «ЛГ».

Редакцию особенно интересуют:

— выразительные фотографии советских писателей;

— политическая фотография;

— сцены будничной жизни;

— фоторепортажи и фотоочерки на актуальные темы.

Редакция имеет возможность направлять авторов в командировки для решения интересных тем.

С желающими сотрудничать более тесно и регулярно мы можем заключить трудовые договоры.

Для зарекомендовавших себя в работе имеется возможность получить штатную работу в должности фоторепортера или фоторедактора (бильдредактора).

Справки по телефону: 208-99-71 с 14 до 18.00 в рабочие дни (кроме понедельника).

ПАМЯТЬ

Фото: Б. ЕЧИНА

Кто правит бал в Москве

● ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-й СТР.

Совершенно очевидно: раз в Москве размещено правительство страны, оно должно получить все условия для нормальной работы. И задача города, в том числе и городского Совета, выполнить в этом отношении все свои обязательства. Но с другой стороны трудно представить себе город, администрация которого не является хозяином какой-то его части. Ясно, что при таком режиме кроме конфликтов ждать по сути нечего. Поэтому срочно необходим закон о статусе Москвы как столицы СССР, который бы принял Верховный Совет СССР. И закон о статусе Москвы как столицы Российской Федерации, который бы принял Верховный Совет РСФСР. Они не должны противоречить друг другу.

В результате принятия обоих законов хозяевами Москвы должны остаться естественно, москвичи и Моссовет. Но в статусах будут четко фиксированы обязательства города и его Совета перед союзными и республиканскими органами — с тем чтобы не требовалось ни от правительства страны, ни от правительства России вмешательства в организацию московской жизни.

Причем решать проблемы надо комплексно, глобально. Это касается и строительства административных зданий, и движения по городу административных машин, и расположения автостоянок перед министерствами и ведомствами, и многого-многого другого. В том числе, например порядка проведения военного парада связанного с прохождением по улицам Москвы различной техники, пролетов самолетов и вертолетов. Все это для Моссовета — расходы. По приведению в порядок улиц. По восстановлению окружающей среды.

— Так способна ли Москва сама себя обеспечить? Или по-другому: что же Москва может «продать» стране?

— В Москве сосредоточена значительная часть того, что принято называть военно-промышленным комплексом. Кадры высокой квалификации — ученые, разработчики, рабочие. Самая высокая техника, лучшее технологическое оборудование, какое только есть в нашей стране. Всем этим нужно разумно распорядиться, а точнее говоря, организовать московский вариант эффективной конверсии.

В условиях, когда всего не хватает, очень велик соблазн свести эту конверсию к производству недостающих в стране элементарных вещей, вплоть до вилок-ложек, в лучшем случае — высокой бытовой техники, видеомагнитофонов. Но если говорить по крупному счету, то нам надо найти такой вариант конверсии, который сулит наибольшую отдачу. Это первое, чем придется заниматься.

Во-вторых, надо пересмотреть тип организации московской промышленности в целом. В течение долгих лет в Москве сохраняются предприятия, имеющие конвейеры с большим удельным весом ручного труда. Коренные жители Москвы — сами ли их или их дети — работать на них не хотят, а предприятия продолжают действовать. В результате возник порочный круг: чтобы эти отрасли существовали, необходимо было искать для них дополнительную рабочую силу, из-за беспрерывного ввоза рабочих, так называемого «лимита», непропорционально разбухло жилищное строительство. Основным жителям так много домов и квартир продавать и не надо, и в то же время жилья катастрофически не хватает. Совершенно очевидно — если мы будем по-прежнему развивать эти отрасли промышленности, Москва из кризисной ситуации не выйдет.

Поэтому необходима полная перестройка отраслевой структуры экономики, переориентация ее на производства, которые были бы привлекательны для москвичей и не требовали бы постоянного притока рабочих. Над этой перестройкой придется еще серьезно размышлять, так как в ней — выход из многих тупиков.

— Кадровые проблемы и «лимит», очевидно, берут начало еще и в запрете на прописку...

— Безусловно. Способных, даже талантливых специалистов, окончивших Московский государственный университет с отличием, будущих прекрасных ученых Москва, обучившая их, раскрывшая их таланты, оставить у себя не может. И в то же время вынуждена ввозить вьетнамских рабочих, чтобы обеспечить деятельность своих предприятий. Вряд ли можно представить себе будущее города, в котором с самого начала предопределено: что все талантливое, способное должно из него уехать, а пополняться он будет наименее обученными и подготовленными. Так что эту проблему также надо наконец решить.

— Вернемся к московскому экспорту. Какие еще невидимые пока резервы может подтянуть, привести в действие Москва?

— Я думаю, важным источником экспортной функции Москвы должен стать комплекс московских научно-исследовательских институтов. В Москве сосредоточены мощные проектные, разработчиные центры. Они станут хозрасчетными. Конечно, всякого рода эфемерные образования, которые фактически были продолжением аппарата министерств, погибнут, но зато получат толчок к развитию и самостоятельности те институты, научно-технические центры, которые заняты действительно важными разработками. Московский Совет должен создать все условия для формирования центров, которые будут выполнять заказы, поступающие из других городов.

Четвертая база экспорта лежит в сфере услуг. В Москве уже есть крупные центры здравоохранения. Например, комплекс Святослава Николаевича Федорова. Это примерно то, к чему надо стремиться. Центр, в который приезжают лечиться люди со всей страны. Москва действительно может помочь, укрепить, развить такие центры во многих областях медицины. В условиях перехода здравоохранения на коммерческое начало они способны сыграть важную роль в обеспечении города денежными ресурсами, в том числе и валютой.

Создание мощных медицинских центров скажется и на лечении самих москвичей.

Я не буду углубляться в анализ других блоков. Но хочу сказать, что одним из них может стать система высшего образования Москвы. Я думаю, что оплата за обучение студентов в московских вузах не должна быть такой же, как в других городах страны, коль скоро эти вузы пользуются особо высоким спросом. Наше дело помочь своим вузам построить хорошие общежития, оснаститься современным учебным оборудованием, превратиться в мощные центры обучения. А отдачей будет постоянный приток ресурсов в московский бюджет.

Надо подумать о Москве как центре культуры. Как центре туризма. Историческом центре. Я думаю, культура не должна быть хозрасчетным звеном. Тем не менее полагаю, что какие-то туристические функции вполне могут быть источником дохода.

Наконец, нельзя забывать, что Москва находится на перекрестке всех связей страны и страны с миром. Она может стать крупным деловым центром: банков, объединений, ассоциаций, контор.

В условиях административной экономики увеличение числа бюрократических образований оборачивается для Москвы лишь дополнительными расходами. Где-то надо искать помещения, у кого-то что-то отрывать. А если это будут коммерческие учреждения, имеющие прибыль, валюту, способные платить налоги? Тогда счет другой. Так что нам предстоит и здесь сломать бюрократическую систему, поставить дело совсем на иную, коммерческую основу. Чтобы каждый вновь созданный банк, каждая новая фирма приносили доход не отдельным чиновникам — «держателям» помещений, а всему городу. Когда доходы от аренды помещений станут постоянными, Москва получит большой выигрыш.

С учетом всех этих факторов я в перспективе не вижу причин для особо серьезного кризиса в жизнедеятельности Москвы при рыночном хозяйстве. А вот переход к нему будет и сложным, и трудным. Поэтому мы немедленно, не теряя времени, приступаем к подготовительным работам. Постараемся не допустить, чтобы жизнь нас вела толкая в ямы и тупики, нужно предусмотреть выходы из них.

— Составной частью вопроса о хозяйственном развитии Москвы в условиях рынка являются экологические проблемы. Общественное мнение настроено против всякого строительства. Но тогда неизвестно, как двигаться вперед, создавать те же центры. Как вы предполагаете разрешить это противоречие?

— Не секрет, что экологическая ситуация в городе исключительно трудная. И настроение жителей стало предельно жестким: «Нам этого не надо». Нам не нужны фабрики. Нам не нужен зоопарк. Нам не нужен торговый центр. Даже метро нам не нужно.

Почему возникла такая ситуация? Мне кажется, это связано с нынешним типом жизни города. Сегодня все основные составляющие своего жизнеобеспечения — школу, поликлинику, магазины — человек получает вне зависимости от того, расположено или не расположено в его районе то или иное предприятие. Зачем нужен зоопарк району, если от него одни неприятности? Если поликлиники строятся за счет централизованных ресурсов?

А теперь представьте, что мы изменим экономическую ситуацию. И вопрос о том, какую поликлинику откроют в районе и откроют ли ее вообще, зависит от того, есть ли в местном бюджете (то есть у района или микрорайона) на это средства. Тогда житель будет взвешивать. Да, действительно, создание зоопарка чревато тем, что людей на улицах станет больше. Но, с другой стороны, создание зоопарка приведет к тому, что в районе появятся десятки торговых точек, отчисления от них пойдут в совет микрорайона, который потратит их на благоустройство. На то, чтобы построить хорошую поликлинику. И те самые пенсионеры, которые сегодня активно сопротивляются строительству того же зоопарка, вспомнив, что им приходится ездить за тридевять земель к врачу и стоять там по нескольку часов в очереди, решат: так, может быть, стоит согласиться с предложением Моссовета?

Короче говоря, я не за то, чтобы «спускать» районам Москвы какие-то решения, не устраивающие их жителей в экологическом отношении. Я за то, чтобы жители Москвы сами принимали эти решения с учетом всех реальных факторов. При этом в течение ближайших лет надо добиться, чтобы основные капиталовложения московских производств были вложены в такую техническую реконструкцию, в результате которой они станут экологически чистыми.

— Хотелось бы понять, как будет организовано управление городом. Есть тут какая-то ясность?

— Прежде всего надо учитывать, что там придется функционировать в условиях крупной политической реформы страны — перехода к многопартийной системе и преодоления монопольного положения прежней политической структуры, коммунистической партии. Именно на плечи Моссовета лягут заботы об удовлетворении заявок новых политических партий, создании им условий для функционирования. Моссовет должен вырабатывать формы, связанные с изменением политического облика страны. Мы будем, конечно, давать разрешения, но у нас нет свободных помещений, тем более нет типографии, нет бумаги.

Второй момент. Сейчас в Москве двухзвенная структура управления: Моссовет и райсоветы. Для такого огромного города, как Москва, на мой взгляд, этого недостаточно, нужен переход к трехзвенной схеме.

Центральным в этой реформе будет формирование полновластных — с экономическими ресурсами — микрорайонов. Чтобы вопрос о том, подметено ли на такой-то улице, засыпана ли яма в таком-то дворе, не становился предметом обсуждения не только в Моссовете, но и в райсовете.

Больше того, я думаю, что нужно восстановить фундамент той системы, которая когда-то была в Москве,— дворников, которые за все отвечали бы. Эти люди должны держать в руках все ресурсы. И тот, кто асфальтирует улицы, и тот, кто улицы моет, и тот, кто вывозит мусор, должны получать деньги из рук дворника, отвечающего за состояние дел возле данного дома на своем конкретном участке. Сам же дворник должен зависеть не от вышестоящего начальника, а от органа самоуправления микрорайона, то есть жителей, оценивающих его труд.

— А как будет работать подчиненный теперь Моссовету Мосгорисполком?

— Я согласен с идеей нового, избранного Моссоветом председателя исполкома Ю. М. Лужкова о реформе, при которой основные звенья городского управления из гигантских бюрократических систем преобразуются в экономически самостоятельные хозяйственные организации. Они станут меньше, мобильнее, будут конкурировать между собой; думаю, москвичи быстро почувствуют перемены.

Не хочу, однако, ничего предварять. Слишком сложны и ответственны перемены, которые ожидают жителей Москвы. И я не думаю, что руководители Моссовета, его президиум или даже весь Моссовет будут настолько самонадеянны, что решения, которые им кажутся приемлемыми, они станут навязывать городу. Напротив, уверен, что нам надо внедрить другую систему. Коренные вопросы жизни города или районов должны решаться при активном участии самих жителей. Надо создать активно действующий городской центр по изучению общественного мнения. А в наиболее ответственных случаях надо будет проводить городские референдумы.

ВЕЧНОЕ И СУЕТНОЕ

Булат ОКУДЖАВА:

...Хочется писать стихи, но их нет, не пишутся... — сетовал в одной из наших прошлых бесед Окуджава. В последние годы, к счастью, он печатает не только прозу — и стихи тоже. В апрельском номере «Юности» тринадцать его стихотворений — светлые, печально-мудрые, высокие строки!

Пожиратели газет, ловцы теле- и радионовостей, а берем ли мы сегодня в руки книги, до стихов ли нам в дни бурного кипения страстей! Но после громогласно бурлящей площади, суетливого говора спешащих улиц неужели нам не хочется безмолвного разговора с собеседником, чье имя — Поэзия!

Ах, если б знать заранее, заранее, заранее,
что будет не напрасным горение, сгорание
терпения и веры, любви и волшебства,
трагическое после, счастливое сперва...

Все в мире созревает в бореньях и встрясках.
Не спорьте понапрасну о линиях и красках.
Пусть каждый изнывая достигнет своего...
Терпение и вера, любовь и волшебство!

Господи, какое счастье, что сегодня при общей бешеной озлобленности, чуть ли не оскаленности пишутся стихи про любовь, про чувство собственного достоинства, про хрупкость и стойкость личности, стихи, излучающие само дружелюбие:

Мой брат по перьям и бумаге,
одной мы связаны судьбой.
Зачем соперничать в отваге?
Мы не соперники с тобой.

Мы оба к сей земле пристрастны,
к ней наши помыслы слетят,
а кто из нас с тобой прекрасней —
пусть Бог и Время разрешат.

— Я считаю, что если человек, которого я ценю за его творчество, за его талант, высказывает чуждые мне мысли — я могу с ним не общаться, даже отвернуться при встрече, но — прав или не прав, такой уж есть — я не стану выяснять отношения, распекать, вступать в никчемный диалог, который превращается чаще всего во взаимные поношения, оскорбления. Думаю, что от злостной непримиримости мы уже достаточно пострадали. Не хочу ее культивировать.

— И поэтому:

Научитесь сначала себе самому
не прощать ни единой промашки,
а уж после кричите врагу своему,
что он враг и грехи его тяжки.

— Каждый в какой-то степени, большей или меньшей, — продукт своего времени. Тем более интеллигенты несут ответственность за это время. У меня даже такое ощущение, что во всех бедах, неудачах общества виноват я один. Во всех. Понимаете? И когда сейчас я слышу, как говорят: партия привела нас к катастрофе, я рассуждаю: партия-то партия, но раз я ее член, то мне и нести ответственность, главную ответственность.

Кстати, я сказал: интеллигенты — и подумал, что в этом есть некоторая самонадеянность. Мы долгое время считали интеллигентность чем-то вроде профессии, считали, что достаточно получить диплом, чтобы уже считаться интеллигентом. Недавно один майор по телевидению гордо заявил, что он интеллигент, потому что он... майор.

Псевдоинтеллигентность, псевдокультура захлестнули нас. Крайне низкий уровень культуры в политике, в экономике, в нравственности... Когда-то это насаждалось, потому что так было удобно руководить «трудовой массой», очень удобно. Мы пожинаем плоды возбужденного невежества, о котором Горький писал еще в 1919 году. Перечитайте его «Несвоевременные мысли», публицистику Короленко — они ухватили самое главное: невежество у нас правило бал, да и сейчас все еще правит — планка слишком сильно опустилась.

— Но вы сами написали: «Когда начинается речь, что пропала духовность...», то перед нами встает Андрей Дмитриевич Сахаров, и он определяет высочайший нравственный, интеллектуальный уровень нашего духовного бытия сегодня. Мне кажется, вы очень точно сказали о нем, о подобных ему: «и в душах святая готовность пойти и погибнуть, как новое пламя дрожит...»

— Извечная борьба: один огонь зажигает, другие пламя гасят. Старались задуть свечу Пастернака, сделать незримым, упрятать в Горький праведное пламя сахаровского костра. И главное, руки для всего находились. Кто-нибудь взял бы да составил список людей, которые Сахарова травили, — из деятелей наших великих и невеликих. Чтобы было: фамилия, должность в те годы и сегодня, кто он и что, жив или умер. Не для суда, не для казни — упаси Бог, — а для публикации, чтобы все знали: Н. Н., который сегодня работает, скажем, директором или заместителем какого-то большого института, учреждения и говорит, не покаявшись, высокие слова о перестройке, был прислужником официального режима, участвовал в травле великого человека. Подведника. Я читаю ваше «ЛГ-Досье» памяти Андрея Дмитриевича и встречаю имена академиков, которые его когда-то клеймили, — вполне приличные, нормальные люди на сегодняшний день. Кроме моральной, нравственной пользы обнародования полного списка хулителей (а среди них есть и глубоко раскаявшиеся в содеянном), будет и чисто практическая польза: кто-то из молодых, прочитав сегодня, поостережется завтра делать нечто подобное.

— Читаю ваши стихи, новые и старые, и в который раз думаю о том, что самое сложное, трудное в жизни — не врать, оставаться самим собой. Скажите, что вам помогало противостоять официальной идеологии, не пойти на сделку с совестью, на постыдный компромисс?

— Не знаю. О себе очень сложно говорить. У меня много слабостей.

— А если не о себе, не о своем опыте — о Фазиле Искандере, скажем?

— А если о Фазиле, то — талант.

— Мы знаем талантливых людей, которые не удержались.

— Значит, недостаточно талантливы. Настоящий талант всегда остается самим собой, независимо от обстоятельств.

— Большинство находилось в полном смысле «у времени в плену», и сейчас — признаемся себе в этом — стыдно вспомнить иные эпизоды, но как же трудно избавляться от этого плена: нет-нет, да соглашаешься, когда соглашаться нельзя, рот держишь на замке, хотя совесть взывает: «не молчи!». Тут не в таланте художественном все-таки замавыка, а в другом таланте — быть всегда и во всем человеком, а том пушкинском самообладанье, которого достигнем ли когда-нибудь — не знаю.

Быть человеком, сохранить чувство собственного достоинства — «загадочный инструмент», — не это ли заставило наших современников покинуть родину?

— Это чувство — одна из побудительных причин отъезда многих моих друзей, которых буквально выдавливали, как пасту из тюбика, из страны. Это не значит, конечно, что у оставшихся отсутствовало это чувство, но меня, например, пощадила фортуна, а им «предложили» убраться вон. Был недавно в Париже на книжной ярмарке в Гранд Пале, зашел, как обычно, в кафе «Монпарнас», где всегда встречался с Виктором Некрасовым. А его уж нет... Еще один удар по нашей культуре. Утраты, утраты...

Нарыв для того, чтоб ходить по земле,
глазеть на небо, изумляться
грозящему бездной концу своему
не верить и жить не бояться.

И чтоб, подавив народившийся крик
и вздрогнув, и внезапные слезы
укрыться от правды хотя бы на миг
и от передовицкой прозы.

Он в шизофрениях так лишнем
таким он мне весь достается,
как будто я понят уже и прощен
и праздновать лишь остается.

Нарыв для того, чтоб
забыть хоть на час
боренья крови и классов
войти мимоходом в кафе «Монпарнас»
где ждет меня Вика Некрасов.

У меня хранится последний наш с ним снимок, сделанный в этом кафе. Когда мы встречались, садились за столик. Вика давал свой аппарат официанту и просил нас сфотографировать. От каждой встречи оставались такие памятки. Этот снимок получился почему-то синий, и лицо его синее. Вика был такой несчастный от разлуки, от пережитого, и хотя с началом перестройки и вспыхнула робкая надежда увидеть Россию, но она казалась тогда такой призрачной. Снимок окутан какой-то мистикой. Я получил его в Москве утром вместе с письмом от Вики. В тот же час позвонила Уварова, жена Даниэля. Я поехал к ней, мы пили чай, я показывал ей фото, и вдруг раздался звонок из Парижа: Розанова-Синявская сказала, что Некрасов умер.

ТЕРПЕНИЕ И ВЕРА, ЛЮБОВЬ И ВОЛШЕБСТВО

Интервью ведет Ирина РИШИНА

Невозможно, конечно, в одночасье переменить нашу политическую и экономическую ситуацию, тем более нельзя изменить мгновенно психологию людей, общества. Но я считаю, что наше государство, уже провозгласившее столько замечательных лозунгов о ценности человека, откровенно заявившее о преступлениях прошлого, должно очень быстро, не теряя ни часа, покаяться перед деятелями культуры, науки, нашими согражданами, так называемыми диссидентами, оплеванными в свое время, но, как мы сегодня убеждаемся, сделавшими очень много для страны. Государство обязано вернуть им гражданство, сказать об их заслугах. Я понимаю, что наши неспешные перемены в системе государственной власти являются серьезным препятствием для этой акции, что ответственные должности еще в обилии в руках тех, кто повинен в изгнании многих, но ведь есть наш новый Верховный Совет. Что же он-то медлит?

— Люди уезжают и сегодня, считая, что мы накануне гражданской войны, накануне катастрофы.

— Мы не накануне катастрофы — мы уже в катастрофе. Мы больны. Делаем себе уколы для того, чтобы прийти в сознание. Это очень сложный период, и он не быстро кончится. Но постепенно, я уверен, здоровые силы, которые имеются в любом обществе, возьмут верх. С детских лет у меня в голове осталась строчка из Чуковского: «Волки от испуга скушали друг друга...» Сегодня я бы переиначил: «Люди от испуга поняли друг друга».

— «Скушали» на «поняли» хорошо, конечно, поменять, но только произойдет ли так в реальности? Когда в стране царствовал Большой Страх, то люди не только не поняли друг друга, но и стали предавать ближнего, усердствовать в доносительстве.

— Значит, был не край. В наше сознание постоянно вдалбливали необычайную возвышенность, неуязвимость, недосягаемость того, что мы совершали. Мы только побеждали. Все, что мы делали — хорошо, все, что сказали — замечательно. В общем, была эйфория — самые-самые и внезапно все закончилось, мы начали себя немилосердно критиковать, и как результат — шок. Мы должны ощутить этот удар, пережив его, задуматься о себе самих. Жестоко. Трагично. Но без этого не стать нормальным обществом.

— С детства мы приучены: «Единица — ноль, единица — вздор». Такая хорошо продуманная игра — «крестики-нолики». Или ты ноль, или тебе крест. А ты все же хочешь быть единицей и надеешься, что без тебя (без меня, как говорил Андрей Платонов) народ не полный. На одном литературном вечере в ЦДЛ, помнится, из уст известного критика прозвучал упрек по вашему адресу: вот-де Окуджава, пострадавший в годы культа, сводит с временем счеты, не может в своем творчестве подняться над личной обидой. Не верю, когда говорят высокомерно: нельзя мерить жизнь своим личным счастьем тем более своим личным горем. А почему, собственно, нельзя? Не знаю, испытали ли те, кто так высказывается, удары сталинского кнута на собственной шкуре, но читая в «Юности» ваши стихи, посвященные Л. Карпинскому — «Шестидесятники развенчивать усатого должны...», я еще и еще раз вспоминаю, как в 74-м году мы поехали на Дни литературы в Коми. Я не сразу поняла почему у вас такой обостренный интерес к печальным северным местам, почему вы так всматривались во все, вслушивались, вчувствовались... В поезде, который шел к Инте, Княжпогосту, вы не отходили от окна, курили, курили... Лишь потом, когда в Воркуте я узнала историю кружки...

— ...да, она много лет переходила из рук в руки. Алюминиевая кружка с нацарапанной фамилией Окуджава принадлежала брату отца Николаю. Вскоре после XX съезда партии я получил письмо от незнакомого человека. Увидев в газете мою фамилию, он решил выяснить, не являюсь ли я родственником Николая Окуджавы, с которым его свела лагерная судьба. От него я и узнал, что Николаи оказался в числе трех тысяч заключенных, которые были расстреляны из пулеметов в долине реки Янги-аэр. В Воркуте мне подарили старую фотографию большой деревянный крест. Кто-то устанавливал его на окраине, власти убирали, но вскоре он возникал снова. Была там стихотворная надпись о страшном капитане Кашкетине, занимавшемся истязаниями и расстрелами.

Вы вспомнили поезд, дорогу — она на крови и костях.

— «А по бокам-то все косточки русские...» — жутко, что некрасовские строки можно отнести и к Беломорканалу, и к этой дороге, и ко многим еще стройкам, которые величали ударными, комсомольскими.

— Как-то я включил телевизор, показывали довоенный фильм «Комсомольск». Молодые энтузиасты начинают строить в тайге город. А до них здесь вкалывали лагерники. Но эта быль не укладывалась в футляр соцреализма. Не знаю, может быть, перед показом было произнесено слово правды — сегодня выпускать такие произведения без комментария просто безнравственно.

— Один из шестидесятников, Эрнст Неизвестный, приехал сейчас в Союз, чтобы взяться за создание в Воркуте мемориала жертвам репрессий. Я читала, что в городе работает специальная комиссия, которая стремится как можно полнее восстановить имена невинно осужденных, как говорится в заметке, число погибших здесь политзаключенных, чьими руками в основном построен город, и подходящая к нему Северо-Печорская железная дорога, не поддается точному определению.

— Я знаю о замысле Эрнста Неизвестного, и прекрасно, что мемориал памяти жертв появится наконец. Но вот выражение «невинно» или «безвинно пострадавшие» — его я не могу принять. Потому что многие из них, до конца преданные революции, творили во имя нее. Бог знает, что участвовали в красном терроре. Язык не поворачивается произносить слова упрека — да они жертвы сталинского молоха, да на их головы обрушилась кровавая расправа. Но и делать из всех только мучеников? Тот же Николай Окуджава — он не был замешан в арестах и гибели людей, но как политработник не противостоял этим беззаконьям в Грузии, потом и сам пострадал. Так же и отец. Когда его уничтожили, мне было двенадцать лет.

Теперь есть памятник, нижнетагильцы прислали его фотографию. А недавно позвонили, поздравили с тем, что в Нижнем Тагиле открыта мемориальная доска на доме, где мы жили. Меня совершенно это не обрадовало. Я много думаю обо всем этом. Было, было к несчастью никуда не денешься честные люди, прошедшие в партию с самыми благими порывами и намерениями, становились невольными пособниками массовых убийств. Если даже не громили, не доносили, то обличали публично, морально уничтожали. Такое чувство, что десятилетия длился чудовищный сеанс повального гипноза.

— Среди читательских откликов на прошлую нашу беседу было письмо, автор которого передавал рассказ бывшего строителя Невраева, он в 30-е годы в Нижнем Тагиле знал вашего отца. По его словам, Окуджаву «рабочие очень любили, так как он был простым, отзывчивым человеком. Условия стройки «Уралвагонзавода» были тяжелыми, и Окуджава проявлял заботу о питании жильцов строителей. В обед, когда из общего котла раздавали нехитрую снедь, он вместе со всеми получал свою порцию и тут же съедал, так как был голоден не менее, чем другие. Заходил в общежития бараки, иногда ночевал там».

— Так, видимо, и было, потому что мне писал бывший генерал КГБ, который занимался в 56-м году реабилитацией отца, что он беседовал с разными людьми и все подтверждали, что отец был человек простой и ходил по домам рабочих. Такой знаете ли хороший большевик из плохого фильма, которых мы вдосталь насмотрелись. Когорта людей, строившая социализм, против которого мы сегодня протестуем, молодые фанатики, они ничего не имели, ничего не хотели для себя лично. Я помню, как мы жили когда отец занимал пост первого секретаря Нижнетагильского горкома партии. У нас была небольшая квартира, казенная, с казенной мебелью, на которой бирки висели: стол, стулья, кровати — самое необходимое. Помню, что в прибегах к улицы брал кусок черного хлеба, намазывал его томатной пастой, солил — обед секретарского сына. Но помню и громадное количество раскулаченных, которые умирали с голоду там, на Урале, пока создавались эти необыкновенные социалистические стройки.

— А вы читали «Отлучение» Авдеенко? Там есть портрет вашего отца.

— Прочитал. Обычно мемуары пишутся как бы из сегодняшнего дня, а эти — словно человек и сегодня в том времени находится, поразительное авторское ощущение себя того. Хотя в повести нет ни тюрем, ни допросов, но она страшная по самой сути своей, потому что написана восторженным человеком. Это вот подлинное совершенно замечательное покаяние. Все сложно. И я не могу, как некоторые мои товарищи, писать с придыханием о своем убитом отце, его братьях. Мне прислали вырезки из газеты «Тагильский рабочий» 37-го года. Идет пленум горкома партии, выступает мой отец и клеймит такого-то. Еще номер — следующий пленум, выступает заместитель моего отца и предает анафеме его. Третий номер — опять пленум, теперь «врагом народа» объявлен тот, там... Это какой-то кошмар!

— Владимир Корнилов в стихотворении «Томский» говорит, собственно, с тем же:

...прокурор началья
У вождя ища поваду,
Фанзуллу спускал на Анкваба,
И Анкваба на Фанзуллу.

И невиданные клеветы
Соплеменников и друзей
Тиражировали газеты
Для Советской страны для всех.

— Все перепевается, перепутывается. Я как был люблю своего отца и верю, и знаю, что бесчинств он не творил. Но проживши больше, может и не уберегся бы, кто знает, на что толкнул бы его «сталинский гений». Его посадили в 37-м, было сообщение о раскрытии Уральского повстанческого штаба, куда входил весь партактив. Для расследования направили из Москвы работников ЦК старых коммунистов. Вернувшись, они доложили, что никакого такого центра нет. Тогда выступил Молотов и заявил, что это преступная ошибка, что конечно же центр существует. И всех расстреляли. Потом когда Молотова восстановили в партии, я собрался из нее выйти, но меня стали усиленно отговаривать, и я скис. Вступая в партию в 56-м, после XX съезда вступал с открытым сердцем и полной уверенностью: наступили новые времена, будем жить по-другому. Но уже в 59-м я понял, что совершил ошибку. Коммунистом себя не ощущал, и вообще какой я был член партии в общепринятом тогда понимании? Но выйти из нее не мог: со мной бы разделались и семью бы не пощадили.

— Теперь Российская коммунистическая партия создается, и на первом собрании в Ленинграде В. Ярин оказался вместе с Ниной Андреевой, которая не может до сих пор «поступиться принципами», странно это нам-то... Но таков наш нынешний плюрализм. Есть уже партия недотов, анархистов, либеральных и христианских демократов — может быть, вы куда-нибудь туда решили вступить?

— Ни для каких партий я уже не гожусь по возрасту. Может быть, социал-демократы — наиболее реальное и натуральное явление. Они, во всяком случае, доказали в мире, что способны на создание нормальной жизни.

«...Мама меня от беды берегла. Бога просила о том, атеиста...». А с ней вы когда-нибудь говорили на эти темы?

— Мама, как и отец, тоже была непреклонная фанатичка: в партию вступила семнадцатилетней, вся отдавалась партийной работе. Когда вернулась в 47-м из лагеря, то не делилась, не рассказывала о своих муках, не была со мной откровенна. Она меня щадила, жалела, я даже случайно узнал, что ее били. В глазах ее, совершенно отрешенных, как будто застыло сознание собственной вины.

— Эту отрешенность, зажатость, немоту страдания вам удалось с пронзительной горечью передать в рассказе «Девушка моей мечты». Но в чем же вина такого человека и перед нем она виновата?

— Она считала, что передо мной, перед обществом. В том, что очень активно, слепо, бессердечно, во имя будущих торжеств справедливости и добра, как это обычно утверждалось, участвовала в сталинском марше к сияющим вершинам коммунизма. В заключении она многое поняла. Умные люди объяснили ей то, что раньше до нее, видимо, не доходило. Она вернулась не просто подавленная ужасом пережитого за десять лагерных лет. Ее душа была опустошена крушением идеалов, устоев, которые казались незыблемыми. Для фанатика такое крушение безмерно тяжело — мир рухнул.

После ее смерти я обнаружил свои письма, которые посылал в лагерь — она их хранила, отвратительное сплошное вранье — «все замечательно, все хорошо».

— За что же сегодня себя осуждать? Ложь из лучших побуждений, чтобы утешить, не добавлять родной матери сердечных мук. А вы ощущали себя сыном «врагов народа»?

— Самое страшное заключалось в том, что я был очень советский мальчик, все принимал на веру. И надо же, такая несправедливость: именно у меня и отец, и мать, и дяди, и тети — все враги народа... Я не представлял: отец — враг? Мама — враг? Видно, ошибка какая-то, но ее вроде быть не могло: значит, от меня что-то утаили.

— Но потом вы с мамой разговаривали на эти темы?

— Потом, конечно, говорили обо всем.

— К рассказу «Девушка моей мечты» просится эпиграфом стихи того же Владимира Корнилова (видно, это единый взгляд — взгляд поколения):

Там на всех на углах в усах иконы,
В городах, в деревнях тайги законы,
И молчат в серых ватниках колонны,
Но зато поет Марина Роки.

Такова, видно, на все времена методология идеологии — зрелище, игрище, затуманивание мозгов: то трофейная лента с Мариной Роки, то доморощенные «Кубанские казаки», то разлекательно-развлекательная спецпрограмма в рождественскую или пасхальную ночь — не думай, не сосредоточивайся, не рассуждай. И войну надо было писать только в героическом плане.

— Как-то в «Огоньке» я опубликовал стихотворение «Ироническое обращение к генералу». Я имел в виду трагический парадокс, который существует в нашей армии. С одной стороны, нормальный военный как и всякий человек, хочет жить и не хочет воевать. С другой же — чтобы совершенствовать свою профессию, ему недостаточно только парадов и маневров. И всегда в большей цене полководец, хлебнувший порохового дыма, нежели невоевавший. Обращаясь в стихах к одному генералу, я говорил ему, что не мешало бы задуматься над этим горьким парадоксом. И вдруг на меня обрушились генералы, обвиняя в том, что я призываю распустить армию. Всерьез спорить с ними? Я ответил, что обожаю всех наших генералов, что все они умницы, все высокоэрудированные и благородные люди, но что среди них есть, к сожалению, один идиот, к которому я и обратился в стихотворении. Видимо, они задумались, потому что с тех пор писем от них я не получаю.

— И в новых стихах ваших есть строки: «Солдат идет с винтовкой, врага он не боится. Но вот какая странность в душе его творится: он пушки ненавидит, и воинам он не рад... Конечно, если это не лапоть, а солдат». Мы с вами беседуем накануне 45-летия Победы и вашего дня рождения — 9 мая, которое с той поры навсегда связано с воспоминаниями о войне. Первая ваша маленькая повесть «Будь здоров, школяр», где вы рассказали о своем фронтовой юности, увидела свет в «Тарусских страницах», которые арестовали, и она долгое время не была известна читателям.

— Между прочим, в будущем году будет 30-летие «Тарусских страниц», и к этой дате мы готовим второй их выпуск. А попал я туда благодаря Борису Балтеру. Дал прочитать ему «Школяра», вовсе не думая о публикации, а он отдал повесть Паустовскому. Пришел через несколько дней и сказал, что Паустовский хочет со мной встретиться. И мы поехали в Тарусу. Когда начался разгром альманаха, больше всего досталось именно мне, потому что повесть, в отличие от военных вещей, которые публиковались тогда, была воспринята как антигероичная, пацифистская. Помню, как Леонид Соболев написал, что эта повесть особенно опасна, потому что она написана талантливо. Он прав, конечно, что все талантливое особенно опасно. Это был для меня большой комплимент.

Воевал не я. Воевал юноша с моими именем и фамилией. Он был романтичен, как, впрочем, и большинство его сверстников, он был сыном врагов народа, и это его ранило и побуждало идти на фронт, чтобы доказать всем, чтобы все видели, что значит для него его прекрасная, единственная, неповторимая отчизна. Прозорливости ему, конечно, не хватало. Ни знаний, ни житейского опыта у него не было. Его согревали романтические костры тех лет и уже лживые мифы. Пламя этих костров рождало трагических фантастов, безвольных обывателей или жестоких чудовищ. Слава Богу, что я дожил до тех лет, когда смог оглянуться и понять все это, и, восхищаясь победой, гордясь своим маленьким участием, я не переставал надеяться и до сих пор надеюсь, что мы, люди, научимся обходиться без крови, решая свои земные дела. Через несколько лет после окончания войны я написал маленькое стихотворение, которое не включал в свои книги, так как его пацифистский пафос был неприемлем.

Это случится, случится,
[illegible] иноходцы
пролетают над городом птицы,
будут оркестры играть.

Станет прозрачнее воздух,
пойдет забудется сам,
и пограничное войско
с песней пойдет по домам.

Кровь и военная служба
станут на веки во зле.
Вот уж воистину дружба
будет царить на земле.

Это случится, случится.
В домнах расплавят броню...
Не забывайте учиться
этому нужному дню.

Фото В. БОГДАНОВА

ВЕРНИСАЖ «ЛГ»

ФОТО

Иван ВАСИЛЬЕВ
Михаил ШАТРОВ
Фото Р. КУЧЕРОВА, В. КРОХИНА

АВТОРСКАЯ РУБРИКА

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КООПЕРАТИВНОЙ ЭПОХИ

Андрей БИТОВ

ПОЛОВИНА человечества недоедает. Некоторые считают, что даже больше. Однажды с карманом, относительно набитым деньгами, я обнаружил, что отношусь к этой половине. Я жил один, работал, не хотел никого видеть. Поднимал меня с рабочего места голод. Мысль о ресторане отпадала тут же: убивать целый вечер, выстаивать очередь, унижаться перед швейцаром, страдать желудком. Сварить бы суп, а где мясо? где капуста? — опять в перспективе день потерян. Пойти студенческим, монашеским путем: хлеб и молоко, но только увидел очередь за тем и этим! Возвращаюсь домой. Единственный выход: нарвать бы по дороге щавеля (жаль, рос), поймать бы на подоконнике голубя (жаль, не было жаль противную птицу).

Разве что придет за рекомендацией молодой автор — пошлю его за хлебом и кефиром. Недаром же пишу больше по поэзии: жидко.

[illegible]

Сейчас такое время: мы просыпаемся в незнакомой стране. Оказывается, в ней живут тридцати-, двадцати-, сорокалетние. Их больше половины. Они не только живут — это именно они работают, любят и рожают.

Они уже не пишут стихи, как я не стою в очереди. Они их сразу поют. Тут вам и первое, и второе, выпивка и закуска.

[illegible]

Мне нравится эта поэзия. Чем-то она напоминает хлеб и воду. Когда понимаешь, что ничего вкуснее нет.

С несколькими тысячами одних только членов Союза писателей — поэтов, то есть профессионалов, умеющих во пять слово, хотя бы и только в амбический, но точный размер и рифму, мы почему-то уже не встаем в эту очередь. Отобрать легче самим спеть. Легче, чем отобрать из семи тысяч двадцатка, вообразивших себя уже не в амбе, а в поэтическую школу, чтобы из них выделить одного или двух, про которых мы и так знали, что они ПОЭТЫ. Поэтом давно. Опять и опять предпочитаем Ахмадулину.

Прошли пятидесятые, шестидесятые, семидесятые. Отпелись туристские, блатные, студенческие. Споров больше нет: был или нет этот поэтический хлеб, подворотен, которым насыщался худо-бедно весь народ, пока в застои уснуло полтора-два поколения. Остались неоспоримые классики. Окуджава, Высоцкий, Галич. Однако и до них оказывается было: «Товарищ Сталин, вы большой ученый...» — не они написали, а Алешковский. «Когда начаются фонарики ночные...» — то же не они, а Горбовский. Песни пятьдесят третьего года. Авторы знакомы — мне, а слова — народные. Было, выходит, кое-что и до Высоцкого. Но и после него — есть.

Странная поэзия не отыщется самой себя. Равная себе.
Сохранившая повод для своего возникновения.
Для дома, для семьи. Для себя. А потому и людям.

[illegible]

Молчащее время, молчаливые поколения оказались на поверку куда болтливее и речистее, чем можно было предполагать.

Прежде чем я успеваю выступить ценителем, знатоком, профессионалом, человеком строгого вкуса, я обнаруживаю: что мне это нравится, и я не знаю, что сказать. Пропасть между подлинной поэзией и мнимой, чтением и графоманом оказывается не преодоленной, а обойденной с помощью одного лишь признака — насущности.

«Каков смелый поручик Фет!» — сказал Лев Толстой о стихах неизвестного еще поэта.

Наши поэты на долгие десятилетия потянулись пунктом вереницей вдогонку гениям, пока не обнаружилось, что поэтическая смелость — это прежде всего наличие чувств.

Преувеличивая, я не преуменьшаю.

Живое время объединяет поколения и поэтов, призванных им к звучанию — молодых, что отцы, что дети. Что недослышано в шестидесятые, слышится в восьмидесятых.

Поэзия двух поэтов двух поколений — отцов и детей — Сергея Салтыкова и Сергея Колесникова покорила меня. Чем-то одним. Наличием.

Здесь не стыдно ни красоты, ни банальности, ни чувствительности.

Здесь как раз это есть.

Я спросил того и другого: вы как сначала пишете слова, а потом подбираете музыку?

И они оба ответили одновременно. Стихи какие бы они ни были, снова наконец рождаются.

[illegible]

Наконец-то можно говорить не об уровне, а о поэзии.
Поэзия не нуждается в доказательствах: как и жизнь.
Вы еще не знаете этих поэтов. Я вполне счастлив, что знаю их.

Работа долгого времени, определяющая масштабы великих поэзии, не так и важна. Ибо время сохраняет всех поэтов. Как раз остальные канут.

Так вот о голоде. Это будет не простая разруха, что нас ждет в нашем возрождении. Мы обнаружим разруху чувств: нам станет необходимо вспоминать, как любить. Докричаться о непримитивности наших бабушек.

Я дифф[illegible]
Он [illegible]
И [illegible]
И я б[illegible]
Когда [illegible]
Щекот[illegible]
Я дыш[illegible]
Скачу [illegible]
Очаров[illegible]
Цы[illegible]
И смертный приговор, как божий дар
И оправдань[illegible] мировой ошибки
Коробка [illegible] старых [illegible]
Стреш[illegible]
Все, что остал[illegible] ни от дядей и отцов
А мир вокруг такой [illegible]

А. САЛТЫКОВ

Кушать хочется! Говорят, напротив открылось кооперативное китайское кафе. Деньги у меня опять есть...

Но я не верю, что оно открылось. Что там и впрямь чисто, открыто, что там не нахамят и не отравят. Пусть обдерут! Но вот я голоден — и боюсь выйти. У меня еще нет опыта, что может быть не так, как я всю жизнь знаю.

Сейчас решусь, выйду на улицу и перейду ее, как народ. Он гораздо более смел в оценке поэзии жизни, чем знаток.

ЛИТЕРАТУРНАЯ политика эпохи застоя состояла не только в наращивании системы запретов и искусственном разделении литераторов на якобы противоборствующие группы «горожан» и «деревенщиков», с последующим подразделением по национальному признаку, но и в искусном смолаживании всякой попытки писать по-своему. Когда даже печатающийся автор ходил в молодых и десять, и двадцать лет, он неизбежно загораживал дорогу тем, кто возникал на десять и двадцать лет позднее его. Обыкновенная покупка минимальная доза допустимой идеологической незрелости снисходительно оправдывалась «молодостью» и «приносом». Воспользоваться этой позой, в которую тебя ставил критик, не представлялось возможным — это было уже условие. Ибо «молодость» и поиски переродились в ругательные «молодежность» и «экспериментальность». Таким образом, так называемое хрущевское поколение было превращено в завал на долгие годы, загородивший дорогу всякой попытке родиться поколению следующему. И лишь в конце 70-х, оказавшись повыбитым запретом, эмиграцией и смертью, это все еще молодое поколение — за сорок и под пятьдесят — уступило место следующей волне, непосредственно его подпиравшей.

Последние молодые наблюдались у нас десятилетия назад — это поколение «сорокалетних». Сегодня им пятьдесят, и как бы все еще сорок. А сорок-то тем, кому было тогда тридцать.

О тридцатилетних и двадцатилетних в ту пору и речи не было. «Сорокалетние», как бы сняли с «шестидесятников» вину — это уже они загораживали дорогу, а не мы. И это нам теперь, как братьям по несчастью, носили свои рукописи двадцатилетние, чтобы их хотя бы прочли... Мы не могли помочь им напечататься, как не могли помочь уже самим себе. На наших глазах мужало поколение с самого начала и не надеявшееся на печать. Взаимное пожатие плеч: сами знаете, сами понимаете, известное дело — да дело известное, сами понимаем, не извольте беспокоиться.

Между тем люди, родившиеся после Сталина, приближаются к пушкинскому возрастному рубежу, люди, родившиеся в конце хрущевской эпохи — к лермонтовскому.

Теперь мы надеемся, что время гласности и перестройки оплодотворит поколение, которому сейчас двадцать, и оно сможет сказать новое слово в литературе. (В перспективе следующей пятилетки.) Эта надежда в очередной раз перечеркивает судьбу поколения застоя, тех, кому сейчас от двадцати пяти до сорока, тех, собственно, из кого и состоит сегодня наша страна. Ибо кто рожает и кто строит, и воюет, как не они?

Представим себе самочувствие прозаиков этой генерации (раз уж они не удостоились звания «поколения»). Для себя-то они были и есть. И кто скажет, не есть ли они нечто большее (нем для нас) для десятков миллионов читателей, из возраста, из опыта? Демократия — это не только равные права для разных социальных групп, но оказывается вдруг, и полов, и возрастов (старики и дети), и национальностей, и поколений (не говоря об инвалидах и неформалах).

Большие надежды возлагало это немое поколение застоя на гласность. И что же? Власть цензуры для них сменилась на власть поколения, вернее, его вкуса. Гласность не только не исключила, но и утвердила диктатуру вкуса. Цензура сдала свои позиции, поколение их отстояло. Оно — вправе. Пусть не стало, за что НЕ печатать, осталось — не за что печатать. «Нельзя» подменилось на «зачем?».

Положение немого поколения — почти гоголевское. Как в «Страшной мести» восстают вокруг них мертвецы: «Душно мне!» — один, другой, третий. Крик их наконец достигает нашего уха через толщу трупов и десятилетий. Но какова бы ни была мощность «Доктора Живаго» или «Жизни и судьбы» — все это так или иначе «факультет ненужных вещей», и наши немые молодые вправе сказать: мы-то живые! Но по-прежнему в каждом журнале Сталин, как Вий, просит поднять ему веки.

А журналов — столько же, сколько еще при нем было. Главные редакторы получили свободу печатать на свои страх и риск, то есть и по своему вкусу. Они — вправе, им же — отвечать.

Бумаги, говорят, нет. За бумагой очередь. Бумага как раз и кончается под носом у следующего поколения.

Поэтому гласность есть, журналы есть, а литературного процесса нет. Потому что никто, кроме тех, кто уже был в него не включен. Даже с эмиграцией слава Богу, начали разбираться. Доходит, что русская речь едина, что ее не разрубишь, как червя. Возвращение писанного в эмиграции почти тем же поколением родилось с великим тому сопротивлением, но оно уже ширится, оно — неизбежно. Положение двадцати-, тридцатилетних осталось прежним. Мы им не предложили даже конкуренции, мы им предложили безвыездную эмиграцию.

А они с нее и начинали. Времена застоя совпали с их детством, отрочеством и юностью. Едва ли не более трагична была их попытка начать творить, чем наша — продолжать. И если мы теперь приписываем себе долю нашей общей победы, то откуда такая скупость — отказывать в ней собственным детям? Мол, мы воевали, а вы нет? А с чем воевать-то выходим с нами теперь?

Поделив журналы и издательства как трофеи застоя, мы жадны, самим мало. Была еще надежда на кооперативные издания, вот уже годы, как она лишь теплится. Не запрещено, но и не разрешено. А ведь разумным был выход дать им разобраться самим, хотя бы с самими собой.

По роду таких соображений я бы приветствовал каждый из сборник даже в том случае, если бы он ничего не стоил. Слишком важен прецедент.

Три года доходила до нас долгожданная «Весть», один раз что-то отразилось в «Зеркале».

Окончательно проявились былые альманашники — Е. Попов, Вик. Ерофеев. Их поставили в один взвод с Венедиктом Ерофеевым, Сашей Соколовым, Т. Толстой, Калединым, Пьецухом. В десятом имени построено следующее заграждение: уже гласности. Какой кустарник бьется за новым забором?

Л. Ванеева и В. Нарбикова, З. Гареев и С. Чалигарян, А. Гаврилов и Д. Добродеев вдруг... Л. Габышев.

Но и эти все тем же замедленным застойным ухом выводят в люди отнюдь не снимая, а лишь еще раз обозначая проблему немого поколения, которому так и нечего будет делать, пока не наступит свобода печати. Пора понять поколению говорящему и властвующему, что свобода слова и свобода печати — совершенно разные вещи.

Пишут об разному, из не спутаешь. Для них стиль — это человек, прежде всего.

Получается — об одном. Об испарении, об исчезновении человека. О застое — изначальном и единственном опыте. Как бы далекие от социальности и политики (в чем бы не преминули их упрекнуть именно в те времена, когда ничего этого было нельзя!) — они по-своему антисоциальны, ибо их поколение хлебнуло застоя больше любого предыдущего и надеюсь последующего. Исчезновение, дематериализация героя — не только тема, но и сюжет, общий почти для всех авторов. Жизнь для каждого теряет смысл по-разному, но результат — утрата этого смысла — одинаков для каждого.

И литературность, которою каждое поколение не переставало ругать последующее, у них другая — она более след литературной одаренности, чем подражание. Соотношение литературы и жизни у них другое. Они не боятся литературы. Она их влечет. Может быть, хватит требовать от них того, чего в их жизни и не было? Может, надо прислушаться к тому, что в их жизни было?

Каких только не было поколений на нашем веку, и потерянное, и пропущенное, это — брошенное. На произвол судьбы. Дополняя друг друга разностью манер, авторы эти, хотели они того или нет, нарисовали-таки общую картину, написали одну книгу, которая до сих пор не вышла. Этот не то сборник, не то альманах объемом в библиотечку, получился больше КНИГОЙ, чем собирался ею быть.

Мы жили, и они жили. Все было предопределено и известно. Вдруг наконец-то и глава Богу, тронулось, тиснуло, поехало. Очнулись мы в незнакомой стране — пейзаж не тот, люди не те. Поколение с поколением напрочь незнакомы. Более неведомого существа, чем брат, и отец, и сын, и дочь, в природе не сыщешь. Пропасть этого незнакомства непреодолима, если поколение само не расскажет нам о себе (мы же ему о нем ничего не скажем). Без нашего желания, из помощи мы так и останемся навек разделенными. В одной стране, в одной семье, в одной комнате, как на разных планетах и в разных исторических временах. И как же заговорить этому поколению?

Только с помощью своих писателей.

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Валентин КУРБАТОВ

Путь к правде Виктора Астафьева

Фото Р. КУЧЕРОВА

ЭТО ОЧЕНЬ ПО-РУССКИ — изнемогать опять не до себя, не до нынешнего дня. Историк литературы никак не привыкнет к тому, что она не только регистратор минувшего, но и свидетель настоящего. Может быть, мы потому и развиваемся так путанно, сбивчиво, часто неопрятно, что нам не хватает уважения и бережной ответственности в понимании сегодняшнего духовного обихода.

Искривленная вглядчивость во вчера и завтра, минуя сиюминутность, приводит к обманчивому чувству современной нищеты. Только и слышно: ну, какая нынче литература? Вот-де в «серебряном веке» — вот в столах литературных новомучеников (теперь их еще всяк норовит пораздвинуть плечом и кненарокомы помаячить в почетных рядах) — вот в ослепительной эмиграции. А чтоб свой сегодняшний, хотя бы и известный писатель работал на соизмеримой высоте — это уж вещь невозможная: вон как эталоны-то стали высоки, попробуй дотянись!

Ну, а если все-таки не торопиться ломать шапку? Во второй книжке «Литературной учебы» Виктор Петрович Астафьев обмолвился, что делает «пятую редакцию «Пастуха и пастушки». А я вспоминаю, что с первого счастливого черновика, в три дня явившегося из-под его пера в уральской Выковке, этим переделкам повести было и вовсе тридцать, и с изумлением отмечаю, что уже и не в пятый, а в четырнадцатый раз писатель кладет перед собой всесветно известный на многих языках напечатанный труд и снова увечным, упорным почерком пробивается к теснящем сердце правде. Сейчас публикация эта уже начата «Студенческим меридианом», и скоро все, кто знал повесть прежде, сами увидят, как потемнел и сгустился и без того невеселый текст.

В конце марта я был у Виктора Петровича и прочитал этот новый вариант до горького ожесточающего сердце финала. Поспешные, равнодушные позороны Бориса Костеева, которые так мучили нас в конце повести, остались и здесь, но автор, едва досказав горькую правду, отнимет у нас и это последнее утешение тихого погребения — не было этого ничего. Лейтенанта торопливо и деловито подсунули в пустой товарный вагон (до позоров ли, когда полно ра-

Что было, чего не было...

Ст. РАССАДИН

УДИВИТЕЛЬНЫЕ мы все-таки люди: понадеявшись наконец-то покинуть мир опостылевших стереотипов, на деле исчастливо их подновляем, то есть продолжаем их нескончаемую жизнь.

Вот вновь мне почудилось иное. Вячеслав Кондратьев оказывается полупрощенная нами страшная радиостанция «Свобода» вопросила его: вправе ли он спорить с критиками, ответить почему нынче так пала эта, еще вовсе недавно вытеснившись на позиции наша литературная критика?

Господи, подумала я. И они туда же.

Принялось меня это панические вопросы о задачивают: зачем, долго что стали ждать и раздражать. Нет, прежде всего — откуда им нам и кому было не было так точно и шестно, что такое «литературная критика» и тем паче какой ей надлежит быть?

Я то вперечи готов признать и в большем. В том, что с годами перестал различать нечто истинно содержательное в самом по себе понятии «критика». Да есть типологическая определенность в понятиях «прозаик», «стихотворец», и как ни народило это окуни — Федор Достоевский и Петр Проскурин, Михаил Лермонтов и Егор Исаев — люди одной профессии. А критика? Можно ль назвать хоть нечто встречное общее между Иннокентием Анненским, с его «Книгой отражений» — этим образцом и воплощением эстетической критики, и Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, Антоновичем? Быть может, то что их материал — словесность «вторая реальность»? Но то не так разве нечто реальное, которую не имея ее перед глазами, путем домысла воссоздавали Заторский, Толстые, Ходасевич, не есть подобие «второй реальности»?

Небесспорную эту мысль я могу развернуть далее: глядишь настолько что она подутратила бы столь очевидную небесспорность, но сейчас я о другом. Российская словесность правится, что нам или не нравится, всегда была боевым полем. Российская критика — большая и далеко не самая интересная для меня часть ее — всегда была облачена стратегией и тактикой «литературных», по выражению Фонвизина, войн, всегда была и хотела быть публицистической и прагматичной.

Вообще опасаюсь, что наши представления о прошлом собственной критики, в том числе отдаленном, суть одна из многих сладостных иллюзий, вроде хотя бы и нынешней, той, что мы объявили своего читателя (вероятно, на самом деле наиболее массового) одновременно и наилучшим в мире. Не подумав: а может быть, среди прочих лестных причин тут и его отчаянная безбытность, бедность, отсутствие выбора, неумение заткнуть пустоту жизни чем-то еще помимо чтения книжек? Так сказать, **Пушкин вместо масла?**.. Да если бы Пушкин! Если бы между тягой к чтению и обретенной реальной духовностью можно было бы утвердить гордый знак равенства!

Но (возвращаюсь к критике), вот можно нам нынешним укоризненно и справедливо сулить в пос сравнительное недавнее воспоминание о запоздалых годах «Нового мира» Твардовского? О резонансе разумеется, есть поводы, но вот вопрос: эстетический уровень литературы неуклонно и неустанно ведавшего легендарным журналом, уже означала что его критики были и оставались не тактиками, а просто читателями, отвечавшими тем самым свою малую свободу. Однако и в ту пору нас загоняла в эстетику не только охота, а и невозможность говорить о другом, о многом. И прямо.

Профессиональная [illegible]ность критика скоро ли, приходится такую профессию сказать. Ну, если не больше того, что сказали романист и поэт, стал хотя бы, у кого на что хватит силенок, то прояснить и развить его мысль. А мы постоянно пребывали в том состоянии, когда прояснить мысль Быкова или Искандера значило бы писать на них донос от чистого сердца и единомышленного ума. Так что вольно было сегодняшней Наталье Ивановой хихикать, как «то мы конкретно — мы могли некогда не то, чтобы самолично оклеветать статью об Искандере «Веселый талант», но позволить это сделать издателю, которому в слове «сатира» чудилась антисоветчина. То есть находились и те, кто проявлял как умел добросовестно и охотно в статьях ли или в письмах в КГБ и ЦК, но они и были доносчики.

Самая знаменитая статья «эпохи Твардовского» «Иван Денисович его друзья и недруги» Лакшина — могла ли она решиться на то, чтоб полностью выявить солженицынские мысль и боль? Неизбежная и не на шутку почтенная роль статьи была и вот в чем: защитить великую повесть окружить оговорками, подостлать соломки, по возможности обезопасить от вмиг объявившихся злукачей.

Почему спрашиваете, пала критика? Да нет ее у нас. Как не было так и нету. Были ее благородные потуги, спасательные уловки, военные хитрости, были, конечно, и прорывы в искусство, в свободу, быть может, не столь уж и редкие, но не существовало критики как явления, как целого, как системы, держащейся на недевальвированных критериях. И не могло быть — при невозможности говорить всю, всякую правду. И всем.

То, что происходит сейчас и что кажется, да и является, хотя не так тотально, как изображают, возмечтавшие о прежней тиши и гладиш перебранкой, — это по крайней мере естественно. Надо выговорить, а порою и выкричать то, о чем тягостно молчали. Мы — что поделаешь? — переживаем пору нельзя сказать, чтоб полной неразборчивости, нет, слава Богу, нет, но для нас видовые черты покуда явственнее индивидуальных. Массовое возвращение всего, что пре-

[illegible]

ОБЩАЯ в значении и вычрке покуда яснее тот простой мысли, что не существо творится не спортивными и игровыми командами, а единицами. Мы пока не читатели или не совсем читатели. Мы не вкушаем, а насыщаемся пищею, а захлебываемся не дыханием, а судорожно глотаем воздух, не разжирая подчас вкуса, хотя и такое случается: ни оттенков его, мы хмелеем не только, а может не столько от истинных достоинств возвращающегося и разрешенного, сколько от радости, что оно воротилось.

Так с книгами, так с теми, кто их пишет, вокруг которых устраиваем свистопляски. Идущемся, насвистывающемся тогда уже.

Конечно, и сейчас уже несколько забавно: свою вольном случае мне, когда телеинтервьюер Татьяна Земскова пытает Владимира Максимова, яко Марфа восседая у ног Христа, а интервьюируемому иною хранится роль Учителя, настолько, что он непримиримости из непримиримых продает собеседнице слабонатую осведомленность о своей литературной деятельности. И не когда Феликс Медведев предложит ему до Максимова аналогию с Герценом, а тот ежели и отвергнет ее, то никак не ради уничижения: «Я не хочу никаких революций нигде» («Книжное обозрение» № 14, 1990).

Что ж, улыбнемся, если найдем чему улыбаться. И хотя я, к примеру, совсем не хочу скрывать своей нравственной антипатии к нынешнему величью Максимова, но не только не стану навешивать свои чувства, скажем, фанфарщику, как герольд, Владимиру Бондаренко, но и с нетерпением жду, когда и у нас будет напечатано все им сочиненное. По крайней мере то, что выдерживает скромно необходимый эстетический критерий. Это нужно, хотя бы ради нас самих, чтоб мы миновав наконец затянувшийся период инфоркиз, смогли разобраться, кто есть кто и что почем. Что есть Бродский, а что (предположим) — Лимонов. Где Солженицын, где Максимов. Где наконец, «Двор посреди неба» повесть все того же Максимова по моим давним воспоминаниям, очень хорошая, а где его «Сага о носорогах». Где, говоря уже обобщенно, свобода и где разнузданность, где гневный дух и очистительная правда и где малоплодотворная злоба и самоутверждающаяся ложь. Тогда и про себя самих поймем кое что, когда мы истинно раскрепощены в своем выборе, а когда ввергаем себя в очередную — и не последнюю — форму порабощенности, в подхалимаж.

Вот и та же пресловутая критика, которой у нас давненько не бывало как таковой, сколько бы мы ни уверяли себя в обратном, — и она возможно вознесется. Лишь бы не упустить, что мы так отлично и вправду лучше всех в мире умеем) шанса, который у нас наконец появился. И ее, критики, вновь деловито самоценное существование будет свидетельством нашей свободы. От страха или от инфоркиз, от всего, что нас насильственно унижает и чем сами унижаемся.

3 КРИТИКА —

три взгляда на текущий литературный процесс. Мы надеемся, что читатели, сверяя свои оценки с оценками «арбитров», сообщат о них редакции. Лучшие из писем мы рассчитываем опубликовать.

неных, поезд торопится, разъезд пустой, сестер не хватает, чтоб оставлять при каждом покойном для похорон), и жара и лето скоро доделали дело — труп нашли по запаху. Нет, нельзя об этом в пересказе.

Я глядел, как Виктор Петрович молча ходит и ходит по высокому откосу над Енисеем, глядит на родную реку, на кружащихся в ветре ворон, на милую Овсянку в дальнем мареве садящегося солнца, на весь покойный родной мир вокруг, и поневоле думал, почему он все ужесточает и ужесточает свою любимую военную повесть. Не для того же, чтобы разделить злые лавры соревнующихся в мрачности сегодняшних прозаиков, — такие забавы не по нему. Для полноты правды? Но ведь он и прежде в этой книге не врал.

Нет, похоже, тут не мне одному является повод подумать о том, как вообще растет правда в сердце. Тут открывается, что сама душа, защищаясь от бесчеловечности жизни на войне, как бы не сразу все вспоминает, чтобы не изломать человека, а исподволь обнажает смысл минувшего — по мере мужания сердца, по мере сознания ответственности за полноту воспоминания. Круги сходятся к сердцу, к центру, к ядру правды каждый раз на столько, сколько в этот час осилит душа.

Ведь вот сколько уж лет Виктор Петрович говорит о военном романе, который не дает ему покоя, а самого романа все нет. И вот только сейчас в этой поездке следом за «Пастушкой» я прочитал первые двести страниц неумолимо неотменимо двинувшегося вперед книги и понял по ним (хотя в общем задуманном объеме это почти не видная малая часть), почему он отодвигал и отодвигал начало. И почему уклоняется от всех нас затянувшей общественной гонки, а молча уходит к енисейскому обрыву и ищет поддержки у родного простора.

Теперь видно — не зря и не в обиду товарищам говорил он, что настоящей войны в литературе пока нет. Стало понятно, что он имел в виду. А нет в ней для Астафьева того, что труднее всего написать и что побуждает его вновь и вновь править и переписывать свои уже отстоявшиеся военные книги — нет привычной и невыносимой тяжести быта, изнурительной подробности обихода, глухой тоски повседневной бессмысли-

цы, в которой человек еще до боев изводится в заранее мертвое, обездушенное тело.

Я пробираюсь сквозь вязкие от правки, почти непрочитываемые страницы и жалею, что хоть часть книги не издается вот в этом живом, становящемся на глазах виде, — читатель скорее понимал бы, какою мерой труда и страдания платит писатель за слово правды. Тут в каждой вставке художник с человеком борется, понуждая выговорить то, чего память хотела бы избежать без слова, без возвращения. Каждая страница будет переписана с лица и непременно и на оборот перейдет, и там еще будет исчеркана не раз, особенно когда мелькнет светлым пятном нечаянная мгновенная любовь. Или когда подойдет пора расстрела мальчиков-близнецов Снегиревых за то, что убежали из учебного полка домой (благо полк еще в родной Сибири деревянными винтовками чучела колет и до деревни рукой подать), чтобы товарищам принести поесть, хоть одного спасти, не дать загнуться на мерзлой картошке. И тут остановится сердце, когда старший (минутами старший) брат в последнее мгновение на краю ямы еще попытается загородить все растерянно улыбающегося, все обманывающего себя, что их только стращают, младшего. И я опять вспомню, как В. Г. Распутин говорил когда-то, что уж вот давно знает Виктора Петровича и читал все, а как откроет новое, так опять, поражаясь, почувствует себя ребенком, который первый раз глядит на мир Божий, и что это, наверное, и есть народность в не искаженном учеными лжецами святом и великом, редком теперь смысле.

И так ясно видно, что напишет Виктор Петрович страницу (почерк, поспевая за ударами сердца, делается лихорадочным, нечитаемым: все кардиограммы великих русских писателей — в их черновиках) и со сдвоенным чувством страдания от прошедшего перед глазами горя и благодарности Богу, что еще дает силы и подсказывает верное слово, выйдет на берег и долго успокаивается, выравнивает сердце, снимая тоскливую боль. И поневоле с тревогой думаешь: сколько же их понадобится этих сил, на весь-то роман, коли он уже с первых страниц отнимает их так много?

А там сторонкой и стыд пробьется. Поначалу и не поймешь отчего, пока не догадаешься, что это оборотная сторона листа асгафьевской рукописи покоя не дает, задышливый ритм ее набегающих друг на друга строк. Торопится усталое сердце, надорванное сиротством, беспризорничеством, страшной войной и едва ли не более страшным послевоенным миром с его голодом, потерей детей, спешит выговориться. А дар-то грозная требовательность традиции русской, огонь ее каждое слово сто раз на свет подымает и не пускает руку.

Рассудок подстегивает (ведь все уже надолго вперед продумано во всех частях), долгий опыт на выручку спешит — только записывай, как когда-то разом сказавшуюся «Пастушку», а душа «не тянет», надсаживается в подробностях, которые выше сил, но на которых все и стоит. Ничего умом и опытом не возьмешь — опять надо идти туда всем сердцем и всею кровью. Разве еще беззащитнее прежнего. Тогда молодость держала, спасительный эгоизм, слепой еще к глубине страдания живучей души. Теперь вот и свое все вынеси и всю народную боль подыми, не дай человеку избегаться, проиграть себя в словах, уронить память свою.

В. О. Ключевский писал в свои час о нравственном запасе, завещанном нам вековыми строителями народного духовного порядка. Порою теперь, оглянувшись в происходящем, с досадой подумаешь: что мы только и делаем, что истребляем этот запас, порочим его легкомыслием, потому что от века на Руси он копился и обновлялся страданием.

Но теперь, вспоминая свою постепенно отодвигающуюся поездку, весенне обрадованный берег Енисея и ушедшее, повернутое к себе, отдельное от этого праздника лицо Виктора Петровича, его попутно, вскользь сказанное: «теперь одиночество будет расти» и вдруг, вроде вопреки горечи впечатления, утверждение думаю, что правда, а с нею и запас наш нравственный на глубине еще животворяще крепки и, если мы окончательно не потеряем голову в мало украшающем нас беге во все стороны сразу, мы еще постоим в русской и мировой культуре без стыда перед родной традицией.

Псков

Художник Василий ЗВОНЦОВ и Михаил ГОЛСКИЙ

Фото: Р. КУЧЕРОВА

ФОТОКОНКУРС ЛГ.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

СТАЛИН (ЛИ) С НАМИ?

Фольклор о вожде народов

НЕСКРОЮ: это я (как то внезапно, вдруг) устал от разоблачений Сталина в печати. Правда, Юрий Борев считает, что человек «демократического сознания» так никогда не скажет. Но устают и демократы (а, может быть, я не демократ). Во всяком случае, ощущения притупились. Но «Сталиниада» Юрия Борева (изданная «Советским писателем», а в журнальных вариантах напечатанная «Подъемом» и «Дружбой») — особый случай. В нее вошли многочисленные устные рассказы, собранные автором за полвека. Они пришли к нему от людей, знавших Сталина, другие прошли обработку **«коллективным сознанием»**: тут и тайна происхождения Иосифа Джугашвили, его привычки, развлечения, пороки, преступления, путь к власти и обстоятельства смерти, отношения с соратниками, членами семьи, людьми искусства и просто исторические анекдоты о покойном диктаторе. Составитель (собиратель) понимает эти рассказы как городской или интеллигентский **фольклор**, предупреждает, что такие свидетельства принадлежат миру художественному, а не собственно историческому: «предполагают восприятие: хочешь верь, хочешь не верь». Мне кажется, что подобная дилемма тут не возникает. В отличие от книг Б. Бажанова и А. Орлова эти «притчи», «апокрифы», «предания» и не претендуют на то, чтобы рассказать, каким был Сталин на самом деле. Они достоверно рассказывают, чем Сталин **стал в** «коллективном сознании» наших соотечественников.

Зло, связанное с именем Сталина, конечно, безмерно. Но практически все эпизоды книги лишь еще раз убедили меня в том, что личность Сталина вполне соответствует привычному образу властителя, тирана, деспота, диктатора, проходящему через всю историю человечества с древнейших времен, будь то Египет, Рим или Китай. Существует, вероятно, некий «алгоритм» тиранической личности, и Сталин в него полностью укладывается. Может быть, поэтому тиран в «Сталиниаде» выглядит малосимпатичным, но, как бы это сказать, приемлемым, терпимым, что ли. Эффект, я думаю, неожиданный для составителя, но в нем есть свой глубинный смысл. Зло, идущее от системы в целом (лично у меня), вызывает ощущение чего-то иррационального, нечеловеческого, то зло, исходящее непосредственно от Сталина, по природе своей именно человеческое, не возвышается и известным выражением «сталинское человеческое», в отличие от буквально **сверхъестественной** энергии Ульянова-Ленина. Но это мы признать, что надо отрешиться от русофильских и русофобских иллюзий, что человек по природе своей добр, а зло проистекает только из подлого общественного устройства. В человеке есть все.

«ЭТО СТАЛИН» — и смешной, и страшный, и масштабный, и ничтожный, и умный, и безумный, и щедрый, и деспотичный, и «отрокомыслие» Ульянова — пишет Юрий Борев. Все здесь верно, кроме последнего штриха. Дело в том, что все в одном и нет в «Сталиниаде» «Сталин не смешон», в отличие от «Сталиниады» противоположности только доминирующему образу вождя в произведениях 30—50-х, да и более поздних годов, где он карикатурному образу комического деградировал в официозном искусстве. Это одно из самых сильных впечатлений от книги. Для отвратителен хитер, конфуз, мелочен, дрожит за свою смешную шкуру, говорит о «предсмертном» Джугашвили — «отражении в коллективном сознании».

Наверно, когда-нибудь одну из улиц Москвы назовут улицей Хренникова.

Сталин.

Зачем? Уже есть такая улица — Неглинная.

И:

«Сталин. Вот так и надо делать.

М. Век живи — век учись.

Сталин. Товарищ М., не рассказывайте нам вашу биографию».

Но правда во Сталине все равно находит дорогу. Ходит на Лубянке, в шутках, называемых Насрединым.

Я стал вспоминать все анекдоты или «народные» анекдоты о Сталине. Некоторые из них смешны, некоторые не очень, но и в них сам Сталин не смешон. Заметим: что фигуры Хрущева и Брежнева в анекдотах **всегда** комичны.

А ведь анекдот, заведомо рассчитан на смех, слушается. Что же говорить о таких «серьезных» историях из книги Ю. Борева, как, например, «Не стоит опять арест»?

Когда в годы «большого террора» была (якобы) сделана попытка арестовать Буденного на его загородной даче, то его ординарцы и адъютанты заняли круговую оборону и открыли огонь из пулеметов, а сам Буденный позвонил Сталину и доложил обстановку. «Сталин спросил:

— Полчаса продержишься?

— Думаю, продержусь.

— Хорошо.

Через полчаса прибыла еще одна машина, и гости были отозваны.

Сталин позвонил Буденному и, узнав, что все в порядке, сказал:

— А пулеметы ты сдай».

И замечательная заключительная фраза: «Два пулемета Буденный сдал, но четыре все-таки оставил...» Тут самое интересное не степень достоверности рассказанного, а **тон** изложения. Рассказчик (конечно, не Юрий Борев, а условный коллективный рассказчик) с трудом скрывает восхищение главными участниками истории, его, в сущности, история о «настоящих мужчинах», почти миф. И такое коллективное сознание, несущее в себе такой образ Сталина, есть реальность — весьма упрямая, неподатливая, которой, как любой реальностью, следует считаться. И навязывать такому коллективному сознанию образ **комического** Джугашвили значит неизбежно вызывать реакцию отторжения, чреватую самыми неожиданными и болезненными реакциями.

ЧТО ЖЕ, и в самом деле «Сталин с нами»? И если да, то Сталин **ли** с нами? Сталин мифологичен не только в одах Сулеймана Стальского (о нем есть прелестный эпизод в «Сталиниаде»), что очевидно не только в просталинских стихотворениях Пастернака и Твардовского. Но и знаменитое мандельштамовское: «Его толстые пальцы, как черви жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканы смеются глазищам и сеют его голенища», тоже мифология своего рода, как и строки Булата Окуджавы: «Он маленький, немытый и рябой и выглядит растерянным и пьющим». Что означает этот клоунирующий в коллективном сознании фантом? Ясно одно: у сталинского мифа есть будущее. Соответственно, Сталин **как непрерывно обновляющийся миф** теперь уже вечен. Сталин, которого один из публицистов назвал недавним шестидесятником, — это навсегда. Он жив, как и сама система, его породившая. Мы в нем живем. Другой у нас пока нет. Но сталинский миф способен перекрыть и его. Иосиф Виссарионович еще преподнесет нам сюрприз.

НА ЭТОМ можно было бы и закончить. Если бы не одно приложение к «Сталиниаде» — «Программа» жизни Юрия Борева. Приглашая нас к «фриволюмным» размышлениям, зрелищем он пишет:

«Не смогли бы французы выйти из состояния духовной несвободы, если бы Вольтер не совершил непомерно смелого мощунства — не осмелил ни много ни мало национальную героиню Франции Жанну д'Арк. И фривольность этого осмеяния столь великолепно свободна, безоглядна, что, прочитав это, нельзя было больше оставаться верноподданным рабом короля и аристократии. Такая фривольность (напомню читателям, что в одном из вариантов поэмы «Орлеанская девственница» Вольтер приписывает Жанне д'Арк попытку смотоложства — [illegible]) обрекла нацию на свободу».

Не ясно, находились ли в то время французы в состоянии духовной несвободы (думаю, это тоже из области исторической мифологии), но **море крови** пролитое во имя этой новой свободы, не заодно нацией до сих пор и французы весьма остро дискутируют на эту тему в преддверии 200-летия своей революции. Удивляет другое — отсутствие логики. Если французы были «рабами» короля, то очевидно и объектом фривольного осмеяния должен был стать король, а не национальная героиня, ничем официально значимой себя не запятнавшая. Напомню, что писал по этому поводу Пушкин в своем памфлете «Последний из родственников Иоанны д'Арк», какие мысли вложил он в уста вымышленного английского журналиста.

«Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти орлеанской героини: что же сделал из того Вольтер (...) Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и, как пьяный дикарь, пляшет около своего потушного огня. Он как римским палачу, присовокупляет поругание к смертным мучениям девы».

Кажется, из книги Ю. Борева такой, что Орлеанская дева оказывает[illegible] как бы уравнена в правах со Сталиным и Берией (или они с нею), что само по себе странно. Но видимо мысль эта слишком дорога автору. «Я хочу раскрепостить и себя, и моего читателя и разрешаю себе быть свободным, в том числе и **от мнения моих рецензентов»** (подчеркнуто мною. А. В.).

И я, чувствуя себя человеком глубоко «несвободным», смущенно умолкаю.

ИЗ НОВЫХ КНИГ

Феликс КРИВИН

Вчерашние размышления о творчестве

Эпитеты легкие, рифмы ажурные, изящные мысли почти невесомы...

Иные приемы литературные — как дипломатические приемы.

Ну, а запросы, конечно, выросли чрезвычайно и многократно: любой художественный и нехудожественный вымысел претендует на роль художественной правды.

Хотя, конечно, не все так розово, не все так безмятежно и просто. Плохо у нас с иными вопросами.

Но чем больше запросов, тем меньше вопросов.

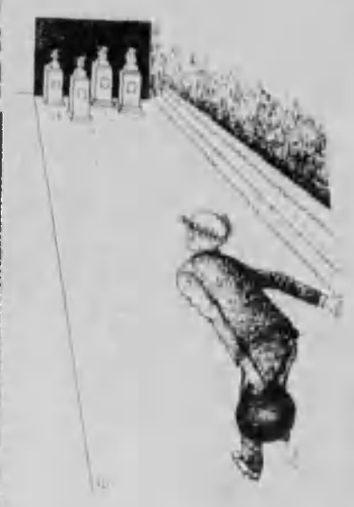
Тем, кто бдит

Опять литераторы наши обиделись.
Никак не желают понять конъюнктуру.
Они у себя отражают действительность,
А мы у себя отражаем литературу.
И если они у себя не плошают,
То нам у себя не пристало плошать.
Поскольку чем больше они отражают,
Тем больше приходится нам отражать.

Почти по Некрасову

Новые будни и новые праздники,
Новые песни — и все же,
Старая классика, старая классика,
Ты все мудрей и моложе.
Время не старит тебя быстротечное
И не выходит из моды.
Сейте разумное, доброе, вечное
В неурожайные годы.

КЛУБ «12 СТУЛЬЕВ»



СИГНАЛ

ОНИ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ

● *Лучшим среди изданных тем («Вышэйшая школа» Минск, художник Н. Шелк) посвящен белорусскому гуманисту первопечатнику Франциску Скорине. Высшая награда XXXI Всесоюзного конкурса «Искусство книги» диплом имени Ивана Федорова.*

● *Сейчас так мечтает иметь в себе стоязыковое издание «Детской библии» выкладывать за нее по 80—90 рублей. Скорее книга будет воспроизведена стотысячным тиражом в нелицензионном христианском издательстве «Протестант». Ориентировочная цена 10—20 рублей.*

● *Чистоплотность, максимализм, чувство, выдающееся здравомыслие и нравственная зоркость отличались в мышлении Б. Пастернака, М. Цветаевой и Р. М. Рильке. Переписка трех великих поэтов XX века с множеством фотографий и факсимиле предлагает издательство «Книга».*

● *Диплом имени Андрея Гончарова на XXXI Всесоюзном конкурсе «Искусство книги» заслуженная награда художнику А. С. Каждаеву и изящно оформленной им книге издательства «Вага» «Обычаи древних литовцев».*

● **Владимир Нарбут — едва ли не самый загадочный представитель яркого созвездия талантов, расцветших в нашей литературе в 20-е годы. Московское издательство «Современник» (серия «Феникс») представляет обширный том стихов и писем поэта.**

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

В канун сорокапятилетия Великой Победы мы вновь обращаемся памятью к далеким дням суровой войны.

Даниил ГРАНИН

СМОТРИТЕЛЬ ДВОРЦА

ВТОТ первый год войны все было неистовым: лето — яростно знойным, зима — смертельно лютой. Но до зимы было еще далеко. Пока что осень размахнулась ярко и поспешно. Уже в сентябре пушкинские парки охватило буйство огненных красок — сурик, охра, багрянец. Листва во всю даль аллеи пламенела, отражаясь в прудах. Пушкин был еще цел. Но война уже вступила в него, в самую его сердцевину. Горел Китайский театр, горели деревянные особняки. Наш полк отступил от Александровки и закрепился перед Екатерининским дворцом. В Баболовском и Александровском парках к вечеру шестнадцатого сентября стали раздаваться очереди немецких автоматчиков. Короткий сухой треск вспыхивал то там, то тут. В сумерках автоматчики ничего не могли видеть, они просто пугали.

Мы давно уже изучили эту наглую повадку, еще отступая из-под Луги. Тогда мы пугались, услышав за спиной дробную трель автоматов: окружение! За два с половиной месяца войны мы успели избавиться от этого страха. И от многих других страхов. Война быстро учила. Другое дело — какой ценой.

Откуда-то появился милиционер. Не простой, а начальник, с какими-то знаками отличия в петличках, в начищенных сапогах. Он отрекомендовался начальником городского отделения. Его прислал начальник милиции города Пушкина выяснить, что за безобразия происходят в парке, чего это наши бойцы позволяют себе.

Мы сперва не поняли, о чем он. Оказалось, они считали, что эту стрельбу затеяли наши солдаты. Хулиганят, как он выразился, позволяют себе, не считаются. Да вы что, да это же немецкие автоматчики, пытались мы втолковать ему. Он был молод и еще самоуверен, как все кадровики, в то лето сорок первого года. Его белоснежная милицейская гимнастерка была подогнана по фигуре, и фуражка лихо сдвинута набок, и значки ГТО и ворошиловского стрелка блестели, как ордена. Какие еще немцы, какие автоматчики, он пренебрежительно фыркал на наши сообщения, уверенный, что мы дурачим его, что мы покрываем свою разболтанность, неумение воевать, держаться по военному. Ополченцы — ни выправки, ни обмундирования. Действительно, многие из нас ходили еще в обмотках, нам выдали какие-то дурацкие синие галифе, пилотки, мы были грязные, заросшие. Глядя на нас свысока, он сказал, что отправляется в парк, он наведет порядок, уж он выловит там нарушителей и — уж не посетуйте — сдаст их коменданту.

Ввиду стояли милиционеры, человек семь, все в белых гимнастерках, он вышел и скомандовал им. Он не слушал никаких наших предупреждений. Высокомерие его и самоуверенность возмущали наших.

— Да пусть катится, чего ты останавливаешь его, — сказал Иголкин.

— Вас же переколотят там, сказал я начальнику. — В белом по чью, это же самоубийство.

Он вытащил из кобуры наган, потряс им.

— Имейте в виду, они будут отвечать по закону!

Мы смотрели, как они, рассыпавшись цепью, уходили во тьму парка.

— Dispache, — произнес Иголкин одно из своих французских словечек, но я не успел спросить его, что это значит, потому что в это время начался минометный обстрел дворца и мы спустились вниз, под колоннаду Камероновой галереи, где разместился штаб полка.

Я ТОЛЬКО что вернулся из второй роты, что закопалась перед прудами. Там же в засаде, заваленные ветками, стояли два танка КВ. Откуда они взялись, не знаю. Танкисты сказали, что вообще-то им надо бы отходить к городу искать свою часть, но они останутся поддержать нас. Прикрытые их огнем, мы смогли перетащить раненых во дворец. Раненых было много, последние два дня бой утихал лишь к ночи. Я прикорнул где-то на топчане, подложив шинельную скатку, которая пахла кровью и карболкой. Почти сразу же Иголкин растолкал меня. Наверное, я проспал час, а может полтора. Обстрел кончился. Раненых уносили на грузовик. Мы засыпали в тот месяц мгновенно, в любое время суток, и всегда казалось, что нас будят тотчас сразу же.

— Вперед, сыны Отечества! — сказал Иголкин, обрывая мой матюг.

— Какой-то чмур домогается дежурного по штабу.

Иголкин заверил, что я и был дежурный по штабу.

Наш полк состоял из ополченцев. Это была Кировская дивизия народного ополчения, собранная из добровольцев Кировского завода и других заводов и фабрик Нарвской заставы. Чисто армейские уставные порядки у нас еще не установились. Кадровых офицеров почти не было, командовали свои. Так получилось, что в те отчаянные дни я очутился на положении командира, а Иголкин, который преподавал нам языки, состоял рядовым.

Протирая глаза, я вышел в соседнюю комнату. Там стоял старик в драном синем халате. Седые длинные его волосы прикрывала соломенная шляпа. Был он небритый, пыльный, красные глаза его слезились. Он сразу рванулся ко мне, заикаясь, простуженно хрипя, слова наскакивали одно на другое, сминая окончания. С трудом я понял, что он смотритель или хранитель дворца, не всего дворца, а его ближней части и галереи, и он требует, чтобы запретили бойцам ходить по залам дворца, портить паркет своими подкованными сапожищами. В крайнем случае пусть соблюдают правило — надевают войлочные тапки. Никто из них не обращал внимания на его запреты, кто-то из командиров обругал его, кто-то высмеял. Видно, они довели его до ярости, он весь клокотал. А может, он того, сдвинулся? Невесть откуда появившаяся эта фигура, безумное его требование, все было как во сне. Я пришел в себя, когда он уже тащил меня через переходы, лестнички... Мы пересекли большие залы, где полы были засыпаны песком, застланы брезентом, куда-то свернули и очутились в пустой, уходящей вдаль анфиладе комнат, освещенной розовыми лучами восхода. Все сверкало, отражалось в зеркалах, хрустальных подвесках. Комнаты были пусты. Кое-где у стен стояли кресла, прикрытые чехлами, а были и неприкрытые, пустые тумбы, подставки. На стенах, затянутых шелковым штофом, виднелись следы снятых картин. На камине перед зеркалом в золоченой раме стояли бронзовые фигурные подсвечники, в углах — вазы, скульптура... Пустота или опустелость создавала ощущение простора, ничто не мешало видеть красоту изразцовых печей, разных медальонов, лепнины. Позолота пылала, часть окон была зашита досками, зато через другие открывался парк и нежно-алые краски неба. Никогда я не видел ничего красивее вереницы этих дворцовых залов, где ничто не отвлекало взгляда — ни мебель, ни люди, ни картины, а была только даль уходящих комнат, тяжелые темно-красные, белые с золотом двери.

Я стоял, приходя в себя, не думая ни о чем, захваченный врасплох этой красотой. Я даже не слышал, что мне кричал хранитель. Но он дергал меня и показывал на паркет. Блеск узорчатых паркетов прерывался затоптанной грязной дорожкой. Наши солдатские сапоги, ботинки, подбитые железками, в глине, песке избивали, исцарапали, покорежили эти драгоценные наборы бука, клена, розового и черного дерева, дуба и ясеня. Бойцы шли до лестницы, спускались на первый этаж, где размести лись раненые, и дальше вниз на кухню. Почему-то им было удобнее ходить через эту часть дворца, может, потому, что тут не простреливалось, а может, еще почему, но солдаты зря ходить не станут, и сейчас они тащили на веревке какой-то ящик по паркету, он скрежетал...

Смотритель или хранитель набросился на них, но они и глазом не повели в его сторону, тогда он кинулся ко мне.

— Да вы понимаете, что немцы уже в Екатерининском парке? — сказал я.

Он замахал руками, закричал:

— Это ваше дело, вы отвечаете. А я должен сохранять. Я отвечаю. Прекратите это безобразие! Я не могу видеть!

— Для кого сохранить хотите? — спросил рядовой Иголкин, который пошел вместе со мной. — Для фрицев?

— Гуннсти вы говорите... Фрицы... — он остановился, глаза его расширились, словно бы раскрылись, словно бы он вдруг увидел солдат, меня, услыхал автоматные очереди.

— Фрицы — повторил он. — Господи! Но они не посмеют, если увидят.

Иголкин расхохотался.

— Эх вы... Подите прочь, здесь встанет война! — произнес он торжественно.

— Слушай, Иголкин, — сказал я, — постелите вы тут доски, жалко ведь.

Иголкин укоризненно покачал головой и выругался на одном из своих иностранных языков.

СОБЫТИЯ тех дней остались вот такими разорванными картинами, эпизодами без начала и конца.

Камеронова галерея. Колоннада. Пули уже долетали сюда, чиркали по камню, по бюстам римских императоров. Отсюда было далеко видно — склон к озеру, и Грот, и Чесменскую колонну, и какие-то красного кирпича постройки, где уже сидели немцы. Мы, прячась за колоннаду, переползали с ручным пулеметом и отсюда постреливали в сторону пруда.

Уходили мы из Пушкина через час. Город спал. Раненых вывезли всех и двух милиционеров, которые притащили своего убитого начальника. Как они умудрились это сделать с перебитыми руками — не знаю. Начальник их лежал на мраморной ступени, он вытянулся как по команде, белое лицо разгладилось, смотрело вверх недоверчиво и удивленно. Гимнастерка его была чиста, аккуратно заправлена.

Мы шли мимо Лицея, вдоль решеток, улицы были пустынны. На круглой тумбе висела киноафиша: «Завтра, 17 сентября, «Антон Иванович сердится». Я шел в конце колонны, нагруженный автоматом и дисками ручного пулемета, и вспоминал про смотрителя в синем халате. Может, надо было его взять с собой? На это Иголкин заметил, что бешеный этот старик не пошел бы, оторвать его отсюда невозможно. «Досочки то мы настелили, — ядовито добавил Иголкин, — для фрицев».

В ту осень и зиму мы держали оборону у поселка Шушары. Через поле раскинулся перед нами Пушкин, его парки, был виден дворец. Всю блокадную зиму он маячил перед нами. Глядя на него, я вспоминал как волшебное видение анфиладу дворцовых залов, великолепие покоев в розовых отблесках закатного солнца. Волшебное это видение мучило меня невысказанным упреком. Случай со смотрителем перестал казаться таким нелепым. Что-то в этом было достойное уважения, но лишь много позже я стал по-настоящему понимать этих людей.

Вспоминал я и тех милиционеров. Почему-то их было жальче многих убитых моих однополчан. Может, потому, что уж очень глупо они погибли. Не знаю, куда зачислила их статистика, в те двадцать миллионов «героически павших» или еще куда в небе домую нам графу.

В бинокль было видно, как дворец чернел, разрушался. Мы знали, что он занят немцами — они укрывались во дворце от нашей артиллерии. В морозные дни оттуда из труб шел дым — видимо, топили печи. И наши полковые пушки время от времени, не выдержав, лупили туда прямой наводкой.

Не знаю, как было под Петергофом, Ораниенбаумом, я знаю лишь, что пушкинские дворцы мешали нам воевать. В том смысле, что мучительно было палить по ним, мучительно, несмотря на все ожесточение ленинградской блокады, на ненависть, накопленную за эти страшные девятьсот дней голода, смертей, бомбежки. Сердце разрывалось, когда приходилось стрелять в сторону пушкинских парков-дворцов.

В ЯНВАРЕ 1944 года я услышал по радио, что наши войска освободили Пушкин. Я воевал уже на другом фронте и в Пушкин попал лишь спустя полтора года после войны. Парк был вырублен, изувечен воронками — где засыпанными, а где зарастающими травой. Дворец стоял выгорелый, разбитый, уже ничего не дымилось, но внутри руины неистребимо пахло гарью. Прогорклый запах разрухи, здесь он ощущался особенно грустно, как запах смерти, тлена. Торчали остовы павильонов, фундаменты, постаменты. Где-то на обломках стены, сверху, вдруг, среди обнаженного закоптелого кирпича глянет золотая головка или ветвь виноградной лозы, и это было самое горькое. Ленинградцы бродили меж развалин, вспоминая былую прелесть этих мест. Ехали в Петродворец к фонтанам — там творилось то же самое: руины, останки, груды щебня, мертвые фонтаны, неузнаваемые скелеты дворцов. То же — в Гатчине и в Павловске. От прежнего великолепия не осталось ничего. Все было разрушено, разграблено, вывезено, сожжено, все выглядело непоправимо.

Ленинград тоже был тяжко изувечен непрерывными бомбежками, пожарами, обстрелами. Великий город хотя и не допустил врага, отстоял себя, но блокада нанесла ему огромный урон. И, однако же, всем горожанам — и тем, кто выжил, и тем, кто возвращался из эвакуации, — ужасное состояние Пушкина, Павловска, Петродворца причиняло боль особо глубокую. Город можно восстановить — это все понимали, ожерелье же дворцовых пригородов было утрачено навсегда — это тоже все понимали. Чувство этой непоправимости стало, наверное, наигоршим из всех послевоенных потерь.

Но уже тогда, в тот первый, а потом и в следующие наезды в Пушкин, я заметил, что развалины Большого дворца огорожены и там кто-то работает, то есть что значит работает — люди бродили в том пространстве, поплали, рылись, искали, подбирали обломки, осколки, крылышки, руки, головы, куски багета, мрамора, стекла. Уцелевшие атланты безнадежно взирали на них с простенков дворца. Никто не верил, что можно что-либо восстановить. Во всяком случае, на нашем веку. Пока что на ближайшие десять — двадцать лет предстояло отстраивать Ленинград. Люди теснились в переполненных коммунальных квартирах. Почти все деревянные дома пожгли в блокаду на дрова, другие сгорели от зажигалок. Люди возвращались из эвакуации, им негде было жить... Надо было налаживать разрушенные предприятия. Я работал в те годы в Ленэнерго. Кабельная сеть города была разрушена, подстанции разбиты. Мы не могли обеспечить мощностями школы, больницы, институты. Нет, и думать нельзя было, и мечтать о восстановлении дворцовых ансамблей, петергофских фонтанов...

Летопись восстановительных работ сама по себе драматична и поразительна. С первых дней освобождения Пушкина, Павловска, Петергофа в январе 1944 года они длились вплоть до восьмидесятых годов. Они продолжаются и поныне. Но то, что сделано, — конечно, чудо возрождения. Так же, как невозможно было представить среди развалин Пушкина, что когда-либо удастся вернуть людям то, что здесь было, точно так же сегодня уже немыслимо представить, что все это великолепие возродилось из обломков, черепков, собранных со старанием археологов, из обгоревших остовов, из упрятанного, закопанного и возвращенного.

СПУСТЯ много лет я приехал в Пушкин с Генрихом Бёллем. Были уже восстановлены фасад и некоторые залы Екатерининского дворца. Девушка-экскурсовод рассказывала, как фашисты разрушили, разграбили дворец и весь пушкинский ансамбль. Мы слушали ее, не прерывая, не задавая вопросов. Бёлль знал, что я воевал здесь. Когда мы вышли в парк, он спросил меня: «Все правильно?» «Все правда, — сказал я, — хотя это и не вся правда». «А всей правды о войне они никогда не узнают, — сказал Бёлль. — Да она и им к чему».

Закатное солнце слепит окна Екатерининского дворца. На Камероновой галерее не найти уже следов пуль. Парк, пруд, Чесменская колонна... Что сталось с ним, с тем трогательным чудаком-смотрителем в синем халате? Уцелел ли он? Дожил ли до восстановления? Но разве он был чудаком? Так ли нелепы и смешны были его требования в те гибельные дни осени 1941 года?

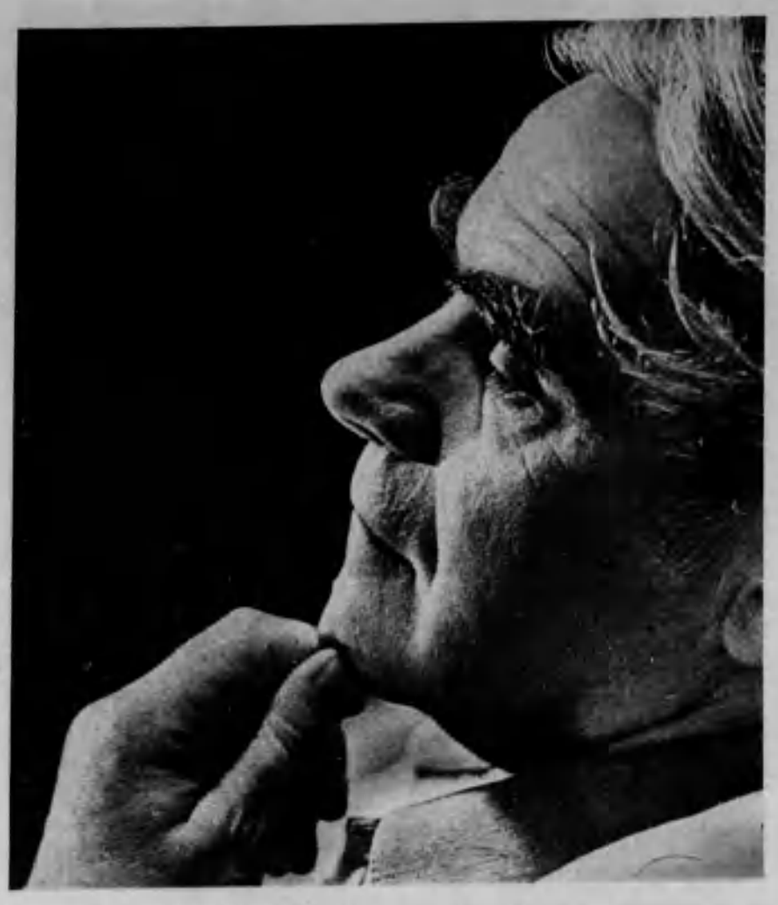


Фото А. НАРЗАНОВА

ЭСТРАДА ■ Ю. РОСТ

ПАС ДЕД КОРОВУ У РЕАКТОРА...

Ой лихо, лихо... Що ви робите, люди? Что не живете, только одолеваете одне одного? Навіщо вам мова, язык вам зачем, если каждый день вы мучаете его неправдой?

...Там за окном свадьба Пети, внука Марии Примаченко — гениальной украинской народной художницы. Свадьба — а годовщину чернобыльской трагедии, в сорока километрах от дымящегося реактора...

Ребенок у Пети родится, будет пока жить.

Крестьяне сидят за столами, едят то, что выросло под замутненным смертельной пылью небом. Дети в ставку ловят радиоактивную рыбу. Самолет летает — воздух нюхает на заразу. Рыжий пес рубит. Музыка играет: скрипочка, сопилка и барабан-бухало, чтоб весело...

Как вы тут живете?

А чего? Радиация пошла двумя штанинами, а мы в мотне. Так нам вроде объясняли? На будут врать ведь...

Да, да.

Машины из зоны идут, грязь на колесах. В магазинах продукты нов-нашие местные — мясцо. Таблички с обочин убрали, запрещавшие в лес соваться. Ешьте, люди добрые, грибы собирайте — забывайте все...

— Кто все наробив? — говорит Мария, глядя в окно, и в голосе ее нет вопроса. — Кто порушив человека в нем самом?.. Ви ота радиація: сбому посмотришь — все нам Бог сложив: глаза, руки, ноги, голос, а внутри все заражено и гиблое. Вроде яблоня этого — рукотворного, выросшего под взрывом. Румяное с виду. Искушает и ребенка, и взрослого диавол — съешь меня. Унюхишь, а там сладкого только обнадеживание и успокоения, а остальное бесполезные болезнь и смерть... Съедят дети — другого ж нет.

Она видит сны, порой страшные явь. И пугается, что одна в тех снах блуждает и иного в сон позвать нельзя... Нынче вместе с Марией в чернобыльском кошмаре блуждает много народу. «Ой, беда! Хоть бы я одна опять оказалась».

Она «малювала квіти», как взрыв произошел. Живое когда исчезнет, так хоть на бумаге останется. Кто-то увидит потом, какой мы приняли эту землю от проживших на ней поколений, не вовсе еще безумных.

А потом Мария нарисовала эту картину: появился дед около реактора корову пасет, а на ногах, рогах и хвоста полиэтиленовые мешки, чтоб сбережься, пока подмога не поспела.

Поможем, поможем...

Зачем нам язык, если мы пользуемся им для того, чтобы обмануть тех, кто еще не разучился доверять словам и умирает от этого своего недостатка...

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Письма Набокова

Владимир Набоков принадлежал к поколению тех людей, которые еще писали письма, и он писал их с потрясающим пылом и художественным мастерством. В настоящее время эти письма, хранящиеся на полках в картонных архивных коробках, занимают целую стену кабинета в номере-люкс отеля «Палас» в Монтре, Швейцария, где живет его вдова Вера Набокова. В сентябре 1989 года издан сборник «Владимир Набоков: Избранные письма, 1940—1977 годы» под редакцией Дмитрия Набокова и Мэтью Дж. Брукколи. В него вошло около 400 писем. Набоков вел переписку с самыми различными людьми — друзьями, родными, коллегами, среди которых были редакторы и писатели. И написаны его письма по-разному — с любовью, раздражением, страстью и гневом, но прежде всего с искренностью, иногда чрезмерной, как показывают письма, отобранные и сокращенные для этой публикации.

Когда его избрали членом Национального института искусств и словесности, он написал письмо с вежливым отказом писателю и официальному представителю института, сообщившему ему эту приятную новость.

Гленвею Уэскотту
7 февраля 1960 г.

Написать такое письмо нелегко. Приходится выбирать между дурным тоном и принципом, но я без колебания выбираю первое. Поверьте, что я глубоко тронут и польщен той честью, которую вы мне оказали, а присланная вами розетка совершенно очаровательна, но, к сожалению, я должен ее вернуть.

Я не мыслю принадлежности к организации без активного участия в ее работе, однако что касается меня, то моя деятельность в какой-либо организации совершенно исключается. В социальном плане я недееспособен. Поэтому в течение всей своей сознательной жизни я отказывался «быть частью». Я никогда не вступал ни в один союз или клуб (даже в студенческий), никогда не был членом ни одного комитета, не принимал участия во встречах бывших однокурсников, не был членом ни одной организации. Произнести речь на публичной церемонии мне так же трудно, как убежденному атеисту прочесть молитву. Вследствие этого было бы бессмысленно вносить мое имя в почетный список членов вашего института.

***

Первое упоминание о «Лолите» мы находим в письме к Паскалю Ковичи, редактору «Вайкинг пресс», датированном 1951 годом. Набоков характеризует книгу как роман, «рассказывающий о проблемах высоконравственного джентльмена, который весьма безнравственно влюбляется в свою падчерицу, тринадцатилетнюю девушку». Начиная с этого времени Набоков писал редакторам, друзьям, издателям как в Америке, так и за ее пределами, ведя широко известную борьбу за публикацию книги. Типичным примером этой переписки является письмо его давнишнему издателю в «Нью дайрекшнс».

Джеймсу Локлину
3 февраля 1954 года

Может быть, Вас заинтересует публикация бомбы замедленного действия, которую я только что смастерил. Это роман объемом в 459 машинописных страниц.

Если Вы пожелаете с ним ознакомиться, необходимо, чтобы были соблюдены следующие предосторожности:

Прежде всего я должен заручиться Вашим обещанием, что он будет прочитан только Вами и никем другим.

Обо всем остальном мы можем договориться позднее. Кроме того, Вы должны указать мне адрес, на который я мог бы выслать рукопись, чтобы она попала к Вам лично и непосредственно. Прочитав работу, Вы поймете, что все это для меня крайне важно.

После того как роман был отвергнут несколькими американскими издателями, он был наконец опубликован в Париже сначала на английском языке издательством «Олимпик-пресс», затем на французском более влиятельным издательством «Галлимар». В США книга впервые была издана в 1958 году фирмой «Патнэм».

Моррису Бишопу
6 марта 1956 года

Я только что узнал, что «Галлимар» хочет издать «Лолиту». Она получит адрес, который внушает уважение. Книга пользуется некоторым успехом в Лондоне и в Париже. Пожалуйста, cher ami, прочитай ее до конца!

Откровенно говоря, меня мало волнует реакция «irate Paterfamilias» (личность человека, которого имел в виду Набоков, не установлена). Этот пуританствующий обыватель точно так же потерял бы покой, если бы узнал, что в Корнельском университете я разбираю «Улисса» в присутствии 250 студентов обоих полов. Я знаю, что на сегодняшний день «Лолита» — лучшая из написанных мной книг. Я спокоен в моей уверенности, что это серьезное произведение искусства и что ни один суд не сможет доказать, что она «порочна и непристойна». Все категории, безусловно, переходят одна в другую: в комедии нравов, написанной прекрасным поэтом, могут быть элементы непристойности, но «Лолита» — это трагедия. «Порнография» — не образ, вырванный из контекста, порнография — это отношение и намерение. Трагическое и непристойное исключают друг друга.

***

Трепетное отношение Набокова к деталям распространялось на все аспекты его работы. Занимался ли он литературой или чешуекрылыми, Набоков не выносил неточности.

Пайку Джонсону-младшему
15 марта 1959 года

Большое спасибо за то, что Вы прислали мне эскизы обложки и титульного листа для сборника стихотворений.

Мне нравится две цветные бабочки на обложке, но у них муравьиные туловища, и никакая стилизация не может оправдать самой обычной ошибки. Чтобы адекватно стилизовать необходимо обладать полным знанием предмета. Я стану посмешищем всех моих коллег-энтомологов, если они увидят эти немыслимые гибриды. Я хочу также обратить Ваше внимание на то, что в наше время бабочек изображают на поздравительных открытках, абажурах, платьях, гардинах, на конфетных коробках, оберточной бумаге и в самых различных рекламных объявлениях.

Итак, возвращаясь к бабочке на титульном листе, хочу заметить, что у нее голова маленькой черепашки, а узор крыльев, как у обычной белой капустницы (тогда как насекомое в моем стихотворении, как явствует из описания, принадлежит к группе маленьких голубых бабочек, крылья которых имеют пятнышки на внутренней стороне), что столь же неуместно здесь, как было бы неуместно изображение тунца на обложке романа «Моби Дик». Я хочу быть с Вами совершенно откровенным и пояснить свою мысль: я ничего не имею против стилизации, но я возражаю против стилизованного невежества.

***

Когда в Соединенных Штатах был издан роман его соотечественника Бориса Пастернака «Доктор Живаго», встреченный с большим энтузиазмом и пользовавшийся огромным успехом, Набоков ясно обозначил свое отношение. Ниже приводится его критическая оценка этого произведения, высказанная в письме к старому знакомому, ученому, преподавателю и литературному критику.

Профессору Глебу Струве
14 июля 1959 года

Хотел бы я знать, какой идиот мог Вам сказать, что я нашел «антисемитизм» в «Докторе Живаго»? Меня волнуют не «идеи» плохого провинциального романа, а то, что представители русской «интеллигенции» способны без содрогания принять полное игнорирование в романе Февральской Революции и непомерное раздувание Октябрьской... И как Вас глубоко верующего православного человека, не тошнит от церковно слащавого духа? «Зима была необычайно снежная. В день св. Пафнутия ударил мороз» — цитирую по памяти.

А стихи доброго доктора! «Быть женщиной — великий шаг...»

Грустно. Иногда мне кажется, что я нечел за каким-то дальним сизым горизонтом, в то время как мои бывшие соотечественники по-прежнему потягивают клюквенный морс, расположившись у какого-нибудь киоска на морском берегу.

Должно быть, человеку, столь ревностно оберегавшему свою частную жизнь, попытка написать его биографию казалась не чем иным, как откровенным вторжением. Хотя поначалу Набоков сотрудничал с Эндрю Филдом в осуществлении его замысла, получив рукопись г-на Филда, он пришел в ярость. (В конце концов книга была опубликована и названа «Из жизни Владимира Набокова».)

Эндрю Филду
8 августа 1973 года

Только что получил Ваше постыдное письмо от 9 июля 1973 года. Дикий вздор, который там имеется, например, будто я терзался сомнениями, не течет ли в моих жилах царская кровь — мог, по моему разумению, родиться только в больном воображении. Или же заявление, что я находясь в Берлине, якобы сказал своему трехлетнему сыну: «Плюнь на эти цветы, они напоминают лицо Гитлера» (в нашем кругу детям запрещалось плевать). Но умопомешательство — это одно, а шантаж — совсем другое. Ваши же угрозы предать гласности случайно оброненные мною фразы во время наших бесед, которые записывались на пленку, а также фальсифицированные воспоминания всяких случайных людей и различные слухи, дошедшие до Ваших неразборчивых ушей, иначе как шантажом не назовешь.

Я приложу все усилия и пошлю Вам свои исправления, как и обещал, до конца этого месяца, и если Вы откажетесь их принять, Вам придется понести за это ответственность. Я без колебаний подам на Вас в суд за нарушение условий контракта, за клевету, диффамацию, за преднамеренные попытки нанести урон моей личной репутации.

Я ввел Вас в контакт с моими родственниками и друзьями, уделил Вам много собственного времени. Если Вы нарушите мое доверие, Вы не сможете воспользоваться информацией, предоставленной Вам людьми, считавшими, что вы действуете по моей просьбе, а также выдержками из моих дневников, писем и другими текстами, полученными от меня лично.

И само собой разумеется, что я налагаю запрет на использование Ваших знаменитых пленок, какими бы невинными они ни были.

Но еще не все потеряно! Оба Ваших машинописных текста с моими многочисленными пометками, как и вся наша переписка будут «находиться в ладе» и могут в любую минуту появиться и встать на Вашем пути, если меня уже не будет на этой земле, чтобы уничтожить пародию на мою жизнь, которую Вы, возможно, вознамеритесь опубликовать.

Публикация подготовлена по материалам «Нью-Йорк таймс бук ревью». Письма даются в переводе с английского.

Перевела В. ЮКАЛОВА

● *МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАКОЙ-ЛИБО ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕРШЕННО ИСКЛЮЧАЕТСЯ...*
● *НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ «ЛОЛИТА» — ЛУЧШАЯ ИЗ НАПИСАННЫХ МНОЙ КНИГ...*

Взгляд из Парижа

Никита СТРУВЕ

Судьбы отечественной литературы вчера, сегодня и завтра — такова тема беседы нашего корреспондента с Никитой Алексеевичем Струве, которая состоялась на крутой, устремленной к Пантеону улице Монтань Сент-Женевьев в Париже. Н. А. Струве — руководитель Культурного и духовного центра в Мулен-де-Санлис под Парижем, главный редактор «Вестника русского христианского движения», преподаватель университета «Париж-10».
Но главное его дело — это, конечно, издательство «Имка-пресс», директором которого Никита Струве является уже много лет. Впрочем, Струве-издателя невозможно представить в отрыве от Струве — литературоведа, исследователя творчества Осипа Мандельштама.

— Никита Алексеевич, не труднее ли стало вам как издателю? Ваши советские коллеги издают сегодня — и какими тиражами! — то, что раньше выпускалось лишь эмиграцией?

— Конкуренция нас не волнует, мы не являемся и никогда не являлись коммерческой организацией. Издательство «Имка-пресс» было создано в 1924 году в Берлине протестантскими миссионерами и пережило разные эпохи. Но всегда оставалось христианским, духовным. Случалось, что издавать было трудно, не хватало средств. Потом начался послехрущевский период, для нас очень существенный: мы стали издателями всей той литературы, которая тогда не могла быть опубликована в России. Продолжили философскую и религиозную традицию российского зарубежья, которая уникальна. Теперь конечно, вопрос ставится иначе: запретов на литературу в России практически нет. Мы рады. Россия наконец-то открылась, становится после долгой изоляции равноправной с другими государствами в плане культуры, культурного обмена. В ней снова закипела жизнь. Раньше мы работали гораздо спокойнее, ибо работали для будущего. Теперь же трудимся для настоящего.

— Если говорить «высоким штилем», чувствуете ли вы в той работе, которую проводили в шестидесятые — семидесятые годы, ростки того, что сейчас поднимается, прорастает не только в России? Вы же печатали произведения очень многих писателей и философов, и не только отечественных.

— Несомненно. Одно то, что мы были издателями Солженицына, говорит само за себя. Слово Платонова, Домбровского, Шаламова тоже сыграло большую роль для внутреннего высвобождения людей, как в России, так и в других странах. Мы издавали как эмигрантских авторов, так и тех, кто остался в России. — Ахматову, Мандельштама. Что и говорить, когда Мандельштам до сих пор в Советской России по-настоящему не издан! Да и Михаил Булгаков еще до конца не издан! Так что роль нашего издательства далеко еще не окончена.

— А каковы ваши планы на ближайшие годы? Кто из нынешних российских писателей особенно заинтересовал вас?

— Вы говорите о тех, кто сейчас живет в Советской России?

— Вообще о потоке русской литературы.

— А я не вижу потока русской литературы. Литература редко идет потоком. Бывают, конечно, удивительные эпохи. Одновременно жили Лев Толстой, Достоевский, Гончаров, Лесков! Или, скажем, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева! Бывают годы «пушкинской» плеяды и годы безвременья. В некоторые времена выделяются, как вершины, один-два писателя. А порой случается, что и нет никого, пусто на Олимпе. Трудно достигнуть высот Солженицына. Я думаю, что он самый крупный писатель второй половины двадцатого века. Не только в России — в мире.

— Ну, а в принципе во многих странах наблюдается сейчас спад большой литературы. Во Франции, например, по эстетическим причинам: «новый роман» убил большую литературу. В России — другое дело: эпоха застоя была разрушительна, потому, что заставила людей молчать. Сейчас же наступил перелом, последствия которого непредсказуемы. Большая проза родится в России лишь на исходе этого нелегкого опыта. Опыта будущего, а не прошлого, как у Солженицына, который в «Красном колесе» все глубже и глубже погружается в историю. Трудно это осознать, но факт: началась новая эра мировой истории. Началась с перестройки. Может, иное время придумает этому процессу другое название, но что-то в истории сдвинулось, надломилось... А великий большой писатель трагичен именно потому, что находится в истории.

— Помнится, вы говорили, что Набоков родился из катастрофы, которая отрезала его от страны и заставила в эмиграции — рядом с уже именитыми прозаиками Буниным, Ремизовым, Шмелевым — утверждаться как писателю. Правильно ли я вас понял: необходима новая катастрофа, чтобы родились в русской литературе новые имена?

— Грубо, но так. Ломка старого мышления, видения мира и его ценностей — это тоже катастрофично. Может через несколько лет, а то и десятилетий, и родится большой талант. Пока на теперешнем горизонте крупных писательских явлений в России я не вижу. Есть хорошие имена — «деревенщики» в первую очередь, хотя и живут они сейчас больше ностальгией. Есть обнадеживающие повести Битова, Каледина, Татьяны Толстой.

— А кого бы вы хотели сейчас издать из советских современников?

— Мне очень близок Василь Быков. Как писатель крайне совестливый ставящий вопросы совести в ключе трагическом.

— Из писателей эмиграции? Что вы можете сказать о прозе молодого поколения — Саши Соколова, Лимонова?

— О них и у нас и на Западе говорят, но я не могу. Стыжусь, но читать прозу Саши Соколова не в состоянии, хотя некоторые и убеждают меня, что я ретроград, а он талант. О Лимонове вообще предпочитаю умолчать... Послушайте, а что мы все время лишь о проле да о прозе? В эмиграции есть замечательный поэт Иосиф Бродский, приехал на Запад молодым, но уже сложившимся мастером. В поэзии эмиграции он занимает почти то же положение, что и Солженицын — в прозе.

— Не преувеличиваете?

— Немножко... Бродский получил Нобелевскую премию за поэзию! Русскую поэзию, которая в общем-то, непереводима. Ахматова же не получила Нобелевской премии только потому, что не написала романа.

— Иосиф Бродский — поэт, безусловно, с искрой Божьей. Но он, на мой взгляд, слишком рассудочен, холоден.

— Ну и что из того? Рассудочность не главное у Бродского. Наоборот, он страстен, трагичен. Он обновил поэтический язык. И когда? После блестящей Ахматовой, Пастернака, Мандельштама. Кто мог писать вечные стихи после Пушкина? Только Лермонтов да Тютчев. А в общем-то, долго-долго пришлось ждать после Пушкина большой поэзии. Долго будем мы ждать и тех, кто осмелится писать прозу после Солженицына и поэзию — после Бродского.

— Не слишком ли вы категоричны? И до Бродского у нас были поэтические величины: Заболоцкий, Арсений Тарковский, Самойлов. А в прозе до Солженицына — Михаил Шолохов тоже, кстати, нобелевский лауреат. Если не ошибаюсь, именно «Имка» издало «Стремя Тихого Дона» — книгу анонимного автора, в которой оспаривалось авторство Шолохова.

— Да и эта книга до сих пор для массового советского читателя — тайна за семью печатями. Шолохов — явление очень сложное и очень спорное.

— «Стремя Тихого Дона» — это только гипотеза. Телис заимствования основных линий романа Шолоховым у Крюкова можно оспаривать. Окончательных доказательств в принципе нет. Тем более что — насколько мне известно — делались попытки компьютерного анализа лексики, где доказывалось, будто авторство Шолохова неоспоримо. Я хочу вам сказать о другом. «Стремя Тихого Дона» — книга интересная и добросовестная, ну и что из того, если она не укладывается в русло привычных, во многом каменных литературоведческих суждений? И сейчас, воспользовавшись этой беседой с представителем «Литературной газеты», могу впервые раскрыть имя автора «Стремени». Книгу написала жена замечательного литературоведа Бориса Томашевского Ирина Николаевна — сама литературовед. Она умерла, не успев ее закончить. Без полемики, смелого анализа не может быть настоящей литературы.

— Какая же литература обладает тогда правом на жизнь? У каждого времени — свои критерии литературной «истинности».

— Поймите меня правильно! Право на жизнь имеет любая литература: и средняя, и даже плохая. Иначе не может быть настоящей, хорошей. Скажем, Бальмонт. Он сыграл немалую роль в становлении стиха, но, как показывает время, поэтом большим никогда и не был. Так и некоторые советские поэты, шумящие сейчас — не буду называть имена, — заполнили эпоху безвременья. Что вовсе не означает, будто они не сыграли роли в русской литературе. Еще как сыграли! Не хуже, чем Брюсов в свое время.

Склад «Имка-пресс» расположен в подвале старого дома, куда издательство переехало в 1959 году. Тома и фолианты — по стеллажам: Бердяев, Шестов, отец Сергий Булгаков... Желтые фотографии, благородные портреты... Мы говорим при свете дымчатой лампочки, и кажется, будто время, спрессованное в только что начинающие разрезаться страницы, затаилось под потолком.

— Никита Алексеевич, вам не кажется, что какой-то туман в полумраке сгустился?

— И правда! Видимо, дни стоят сейчас не по-привычному теплые. Прогрелся подвал, выгоняет промозглость и холод. Он рассеется, этот туман. Должен рассеяться. (Небольшая бородка, дворянская изысканная картавость — Струве до боли напоминает мне одного из героев чеховских рассказов. Кого? Не помню: буксует память, не срабатывает.)

— А что вы намерены издавать в ближайшие годы? Если это, конечно, не секрет.

— Какие нынче секреты!.. У нас есть ряд серий, которые мы продолжаем. Так, сейчас готовим к печати неизданные рукописи отца Сергия Булгакова. Российское духовно-философское наследие — богатейший кладезь. Издаем полное собрание работ Георгия Петровича Федотова.

— Многое из российского философского наследия издается сейчас и у нас.

— Я знаю. Но народ не в состоянии все разом переварить. Нужны приоритеты. Если Россия приходит к плюрализму, ей необходимо принять ту огромную культуру, которой она была лишена ранее. Этот процесс займет многие годы.

Интервью взял Кирилл ПРИВАЛОВ

● *РАНЬШЕ МЫ РАБОТАЛИ ДЛЯ БУДУЩЕГО. ТЕПЕРЬ ЖЕ ТРУДИМСЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО...*
● *Я НЕ ВИЖУ ПОТОКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЛИТЕРАТУРА РЕДКО ИДЕТ ПОТОКОМ...*

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

СЛУХ О Д. А. ПРИГОВЕ ПРОШЕЛ ПО СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЯМ ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК ПОЭТ ОПУБЛИКОВАЛ ХОТЯ БЫ СТРОЧКУ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ.

И ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО. ПРИГОВ ДЕЛАЛ ДЕЛО В ТО ВРЕМЯ, КОГДА НЕКОТОРЫЕ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЕ ЕГО КОЛЛЕГИ И СВЕРСТНИКИ, УГРЕВШИСЬ НА ГРУДИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ, СКОРБНО ВЗДЫХАЯ, РЕПЕТИРОВАЛИ ТЕ СМЕЛЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕЧИ, КОТОРЫМИ ОНИ, С РАЗРЕШЕНИЯ НАЧАЛЬСТВА, РАДУЮТ НЫНЕ ЧИТАЮЩУЮ И СЛУШАЮЩУЮ ПУБЛИКУ, НЕ ПРЕДАВАЯСЬ ГРЕХУ УНЫНИЯ, ПРИГОВ РИСОВАЛ, ВАЯЛ СКУЛЬПТУРЫ, ПОЗНАКОМИЛСЯ С ПСИХУШКОЙ, НАПИСАЛ 13 ТЫСЯЧ СТИХОТВОРЕНИЙ, МНОЖЕСТВО ПЬЕС, ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ, СОЗДАЛ ШКОЛУ КОНЦЕПТУАЛИЗМА, ПОСАДИЛ ДЕРЕВО, ВЫРАСТИЛ СЫНА.

ГОВОРЯТ, ЧТО ПРИГОВ — ЛИДЕР МОСКОВСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО АВАНГАРДА. НА МОЙ ВЗГЛЯД, НИКАКОГО АВАНГАРДИЗМА В БОЖЬЕМ МИРЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. СУЩЕСТВУЕТ ИЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ХУДОЖНИК..

ПРИГОВ СУЩЕСТВУЕТ.

САША СОКОЛОВ (В МИРУ — АЛЕКСАНДР ВСЕВОЛОДОВИЧ СОКОЛОВ), БЛИСТАТЕЛЬНУЮ ПРОЗУ ЕГО БЛАГОСЛОВИЛ, СХОДЯ В ГРОБ, ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ И КАПРИЗНЫЙ В. НАБОКОВ. В СТРАНСТВИЯХ СВОИХ (АВСТРИЯ, КАНАДА, США, ГРЕЦИЯ И ДР.) СОКОЛОВ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ СУМЕЛ СОХРАНИТЬ ДРАГОЦЕННОЕ, ЖИВОЕ, ТАИНСТВЕННОЕ, ПОДЛИННО НАРОДНОЕ РУССКОЕ СЛОВО. ДИАПАЗОН МНЕНИЙ О КНИГАХ СОКОЛОВА ДОСТАТОЧНО ШИРОК — ОТ ВОСТОРЖЕННЫХ ОЦЕНОК ДО ПОЛНОГО НЕПРИЯТИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБВИНЕНИЙ В ЭСТЕТИЗМЕ, ЗАУМИ.

ИО ДУМАЮ, НА ТО И СУЩЕСТВУЕТ ГЛАСНОСТЬ, ЧТОБЫ ЧИТАТЕЛЬ ИМЕЛ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ТВОРЧЕСТВЕ ДВУХ ЭТИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ, НО СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ МАСТЕРОВ.

Евгений ПОПОВ

Дмитрий Александрович ПРИГОВ

■

Воздух яркок и прозрачен
День прекрасен и могуч
Глас народа однозначен:
Больше света! меньше туч!
Соответствие природное
С дивной строгостью души
В дни восторга всенародного!
Господи, как хороши
Все мы до единого
Последнего самого!

■

Вот молодежь ко мне приходит
А что я ей могу сказать
Учитесь — да уже сказали
Женитесь — женятся и так
А поженившись-научившись
Так это каждый проживет
А я скажу ей как злодей:
Живите там, где жить нельзя! —
Вот это жизнь

■

Я скульптор был не самый лучший
Но и не худший, видит Бог
Да прокормить себя не мог
Напрасно только глину мучил
Она же влажная ждала
Чтобы по зову Государства
Огромным воином подняться
На бесподобные дела
А я не мог.

■

Премудрость Божия пред Божиим лицом
Плясала безнаказная и пела
И не с лицом насупленным сидела
Или еще с каким таким лицом

Вот так и ты, поэт, перед лицом народа
Пой и пляши перед его лицом
А то не то что будешь подлецом
Но неким глыбкомысленным уродом
Будешь.

■

Нет, Сталин тоже недь — не случай
Не сам себе придумал жить
Не сам себе народ придумал
Не сам себе придумал смерть
Но сам себе придумал сметь
Там где другой бы просто умер
Чем жить.

■

Вот умер, он умер, и был он живой
И правил такой невозможной страной
И долго достаточно правил
Согласно понятий и правил
Которые можно бы и не понять
Да вот не понять невозможно
Живи и внимай осторожно
А то на себя можешь только пенять
Что этих понятий и правил
Не понял — а то бы уж правил

■

Я в общем враг нововведений
Равно свободы и кутузок
Вот, скажем, Брежнев, как Кутузов —
Он понял русский смысл явлений:
Жизнь мудрый торопить не станет
Сама куда надо доползет
И смерть в свои снега заманит
Там разбирайся — кто помрет
Выживши

■

О чем так необдуманно и страстно
Взываешь к Богу, бедное дитя
Смотри, подслушает живое Государство
И перейдет все дела на себя

И правильно, дитя — живи подвластно
Там кто-нибудь и против, а я — нет
И не минуй в печалях Государство
А то оно безумеет в ответ

■

Вот они приходят молодые
Близкой мне погибелью грозят
У них зубы белые прямые
И на каждом зубе блещет яд
И глаза их страшные горят
Небеса над ними голубые
И под ними пропасти висят
Я же в нишке маленькой сижу
И на них испуганно гляжу
Господи! Где мне искать спасенья?
Может Ты мне скажешь? — Не скажу! —
Он отвечает.

■

Обходчик, обходчик, починщик колес
И смазчик суставов вагонных
Работай мучительно и непреклонно
Не то мы уйдем под откос

Он черный в окно на меня поглядел
И глазом блеснул и безумный запел.
Откосы косы и откусы колес
Мышкуй и стигнайся! нишкни и окстись!
И полный атас
Мой милый

■

Надо честно работать, не красть
И коррупцией не заниматься
Этим вправе вполне возмутиться
Даже самая милая власть

Потому что когда мы крадем
Даже если и сеем и пашем
То при всех преимуществах наших
Никуда мы таки не придем
А хочется

■

В чистом поле, в чистом поле
В чистом поле кто лежит? —
Пуля мертвая лежит
Тело рядышком лежит
Каждый сделал свое дело
Пуля — смертное, а тело —
Тоже ведь не скажешь смело
Что бессмертное.

■

Обидно молодым, конечно, умирать
Но это по земным, по нашим меркам
Когда от старости придешь туда калекой
А он там молодой, едрена мать
На всю оставшуюся вечность
Любую бы отдал конечность
Чтобы на всю, на ту же вечность
Быть молодым
Ах поздно.

Из книги прозы А. Яценевича

...Все по плану
Шло, не так ли, Господи? Под холодным небом
Бредил всеми землями, путая быль и небыль.

Нам бы знать — за что нас так, Боже?

Ирина РАХМАНИНОВА

Саша СОКОЛОВ

Какая промашка вместо того, чтоб родиться и вырасти в несравненном Бузнос-Айресе, где вместо Комо эста усте? — все спрашивают друг у друга: Комо эстан лос айрес? — и отвечают: Граснас, граснас, муй буэнос, — и где велосипедчик газеты Ой демонстративно читает ее без всякого словаря и вообще едет без рук, а кондуктор — обыкновенный трамвайный кондуктор — по памяти декламирует пассажирам пассажи Октавио Паза, — то есть вместо того, чтоб явиться там, среди этих начитанных и утонченных и стать гражданином по имени Хорхе Борхес, — а впрочем, нет, погодите — в Упсале — в неописуемой Упсале — в краю готической хмурой мудрости — и слыть профессором Ларссом Бакстремом, — быть им, во имя прелестной Авроры из славной семьи Бореалис самозабвенно творить ворожбу, именуемую свенкс поэзи, — или вот не взыскуя ни Рима, ниже Афин, — в несказанном Иерусалиме, о лучезарное детство на улице Долороса, среди верных преданий, — о боги, да что там в Иерусалиме, оставим его в покое до будущих календарей, ведь можно явиться и под — в неказистом, пропахшем фалафелями Вифлееме, а нет — в преисполненном былого величья и мулов Афуле, а нет — в разеселом Содоме, — и жизнь напролет как ни в чем не бывало болтая с приятелями экклезиастовым языком сделаться мастером гильдии Амоса Паза, словом, вместо чего Бы то ни было из перечисленного или чего-нибудь в том же возвышенном и нездешнем духе — являешься и живешь черт-те где — лепечешь, бормочешь, плетешь чепуху, борзопишешь и даже влюбляешься, даже бредишь на самом обыкновенном русском — и вдруг, не успев оглянуться, оказываешься неизвестно кем, чем угодно, вернее, не кем иным, как собой. Вопиюще Осознав происшедшее, ощущаешь себя как бы жертвой случайной связи — связи эгоистических обстоятельств, времен. Ты словно облеплен весь паутиной, запутался в неких липких сплетениях, в некой пряже. Проклятые Парки. Смотрите, как я спеленут, окуклен. Немедленно распустите. Мне оскорбительно. Где же ваше хваленое благородство. И муха ни я! Вы слышите? Видимо, нет. Во всяком случае — ноль внимания. Неслыханно. В общем, типичное удовольствие ниже среднего. Так вы шутили когда-то в юности. То есть не вы, а они иные. А тебе, осознавшему происшедшее во всей его неприглядности, было не до веселья. Наоборот, обретаясь в силках присущего априори наречия, ты впал в хроническое угрюмство. И если порой улыбался, то лишь из вежливости, да и то сардонически. Впрочем, жизнь обставала. Ища побороть депрессию, ты по афишке — постскриптумом. Слабонервных просят не беспокоиться, — трудоустроился в морг. Начав с помощника санитара, выбился в препараторы. В обязанности твои входило бритье клиентов и ассистирование на вскрытиях. Объявить, что вскрытие нестетично, — значит слукавить, жеманно спрятаться под вуалью литоты. На взгляд абстрактного гуманиста оно от разнузданного глумления над покойным отлично только ведением протокола. И тем не менее этой, по выражению циников, операции по поводу смерти подвергаются все скончавшиеся в больнице. Порядок свят, исключения по протекции. Бесправие несчастных напоминало о собственном. Вы были невольники двух несогласных стихий. Ты — невольник присущего языка, клиентура — летального. Безъязычия. Жить и пошло и вредно. Жаловался ты прекрасным дамам по соловьиным садам. Однако и смерть — не выход. Ибо и смерть не обеспечивает нам свободы воли. И поверял им строки, сочинившиеся профессиональной печалью. И в зале — по скользкой эмали — кружился полночный скелет — из бледно-оранжевой дали — струился зыбкий, думчивый свет. Терзания надломленного таланта отзывались в дамах сплошной экзальтацией. Тронут сочувствием, ты шептал им положенное и обретал желаемое. О, сколько бальзама давали в те юные ночи за звонкий сезам. А как роились сирени по берегам зари. А как розовели в лучах ее уши неумолимых, как Мойры, котов, стерегущих козлов аквариумов своих — рыб ювелирных. И все-таки ты полагал себя обделенным. Хотелось таких берегов, где в обиходе иные сазамы. Из-за дик, сказано, те амор, твердили тебе героини грез. Но грезы порой оборачивались кошмарами. Чу! Позвольте, но где же выбор? говоришь ты кому-то в маске и в чем-то вроде инквизиторской мантии. Говоришь горячечно, нутряно точно как Достоевский на исповеди у Фрейда. Выбора несть, отвечает он холодно и высоколобо. Но ведь без выбора нет свободы, а без свободы — счастья, не так ли? Возможно, только откуда ты взял, что имеешь на счастье право? Пра-во? Мне говорили, что никакого права не нужно, что ежели мотылек рождается для полета, то личность — для счастья. Ты не личность, роняет он, ты — личинка. Да как вы смеете — что за бестактность — этцетера. Между тем его маска спадает. Волевое лицо узурпатора. Скорбные седые глаза василиска. Неулыбчивый рот палача. Трепещущий и раздвоенный, словно у игуаны, язык. Даже растроенный. Расщепленный. Не счесть. Помилуйте, кто вы? Я — Неизреченное Слово. Я Слово, бывшее в начале начал. Я — немецкое да и зеркально транскрибированное английское я. Я — ой. Я — а. Я — Он, Который утверждает. Я Есмь. Я Есмь, подтверждают поборники всесопряженья. Я — враг твой. Я — бич. Я — неволя, недоля и дольняя незабудка. Я — любит-не-любит. Я — стерпится-слюбится, слюбится-воспарится. И воспарив над юдолью, начнешь препарировать бытие, вычленять из него парную, кровоточащую суть. Не корми ею птиц небесных, те сыты печенью Огнекрада. Но капля по капле, кусок за куском претворяй ее в прозу живую. Терпи и трудись. Я же дам тебе и стило, и крылья. Ибо Я — язык твой. В силу закона о сообщающихся сосудах, субстанциях и состояниях от такого-то и такого-то сна и явь незаметно перетекали друг в друга, смешиваясь, будто в доме Облонских, когда в тем запросто без звонка и без запонок, эдаким фармазоном заезжал покуражиться замечательный русский мечтатель Обломов. Пил, топал, свистел, бранился и требовал, чтобы долон барроко, а да здравствует-ет-де рококо. Пример, достойный всемерного подражанья. Однако к Облонским ты не был вхож, и пойти по стопам кумира было, собственно, не к кому. И вот, поверив амбициозные планы, ты поступал по сказанному языком твоим — терпел и трудился. Дело происходило в пределах от а до я и от там до сю. Лицедействуя на подмостках большого света, ты не затмил гигантов этого балагана, единственно потому, что подвизался на скромных ролях. Зато ты сделался чародей мгновения, виртуоз эпизода. Никакой Оливье не сумел бы столь ловко подать пальто, спотыкнуться и опрокинуть поднос. Эпизодов случалось с избытком. В платье твоего артистического гардероба можно было бы при...ть всю голь карнавальную Копакабаны. На досугах ты открывал многоуважаемый шкап и бережно перебирал висевшие в нем наряды. Так сентиментальный мемуарист листает гроссбухи собственных сочинений. С какою-то грустью. Помимо препараторского халата тут наблюдались сюртук конторского клерка, униформы циркового уборщика и театрального бранд-майора, безрукавка истопника и фрак трубочиста, костюм жокея и фартук рыночного торговца, кителя...ова и траченная собаками телогрейка из дрессировщика, шинель ра...дового и смирительная рубаха. Последнюю ты дорожил как реликвией. Парадоксально, этот набросник наряд символизировал твою постепенную эмансипацию от общественно-политических предрассудков. Ибо именно в нем ты ступил на путь, ведущий в граждане мира и предсе...датели шара. В нем в то смуров по-толстовски утро тебя увозили из мерзкой солдатской казармы — в самое вольное изо всех учреждений отчизны. Карету, украшенную красным крестом, подали к краю плаца, где муштровали гвардию. И ведомый сквозь строй ее почетного караула, ты кричал верноподданным, вселяя в них бодрость и гордость за своего короля. Долой рококо и барокко, да здравствует сюрреализм. И в той же рубахе семьсот двадцать девять уколов спустя предстал ты перед высочайшей комиссией. Ну-с, теперь-то вы сознаете, батенька, что вы никакой не Дали? сказали тебе военные эскулапы. Так точно, теперь я — дивная куколка, выросшая из простой личинки. Какая прелестная метаморфоза. Смотрите, я совершенно окуклен. Прямо роденовский Онор. Благодарю вас. Я благоустроен. Я больше ни в чем не нуждаюсь. И где-то внутри, в средоточье, где прежде ...щемило, мне сейчас бесконечно; точней — бесконечно уютно. Но в теле — в весь тревога. Уведомлен ли о случившемся сам Сальвадор? Необходимо телеграфировать. Цито! Мол, честь имею. Преобразился. И подпись: Тревожная Куколка. Позаботьтесь, уж будьте любезны. Только боюсь, маэстро не вытерпит этой утраты. Ау, мы были с ним так двуедины. Рыдает. Смирительная рубаха на глазах темнеет от слез. И именно в ней в знак протеста против конквистадорской политики позднесредневековья Испании и лично Америго Вспуччи маршировал ты своим нелепковым городом вскоре по выписке. Ты унес ту рубаху нетронутой. Ты похитил ее из дурдома, словно герой лазутчик — знамя из неприятельской штаб-квартиры. То было знамя морального большинства, ведущего необъявленную войну с Художником. Совершив сей подвиг, ты в значительной мере ослабил гидру. Однако был по крайней мере еще один повод для ликования. В соответствующем документе значилось вожделенное: Никуда не годен. Основание: Бред ничтожества на фоне всепотекущей мегаломании. И — ликовал. И являлся в своей рубахе среди недобитых гениев от изящных искусств, меж эстетов, дерзавших гвоздить крамолу на съежившихся площадях и в томных салонах. И в зале — по скользкой эмали — из бледно-оранжевой дали. О рубаха. Это именно в ней ты прожег свою юность, будто бы сигаретой — дыру. Ах, навылет. Какая неаккуратность. Ну разве неясно, что с подобного рода вещами следует обращаться бережно. Ведь — реликвия. Вспомни, это именно

в ней ты кипел отличиться в лучших своих эпизодах, служа вышибалой, менялой шила на мыло, натурщиком, вечным студентом и прочим ловким Гаврилой. В ней, терпя и трудясь, ты вырос в типичного представителя своего экстра-класса — класса лишних в своем отечестве. В ней влился в ряды достославного ордена Отставной Козы барабанщиков. Ордена мятущихся и бунтующих, неприкаянных и непридельных, правдоискателей и юродивых ради идеи-фикс, где магистром сеньор Кихот. Барабанщик милостью Божьей, барабанщик до мозга костей, ты. Был откровенным врагом всего, что не нравилось. И на беда, что с силу окукленности собственно барабанить было тебе не с руки. Что нужды. Зато ты стал выдающимся теоретиком барабана, отважным его идеологом. И сражаясь за правое дело Священной Козы, барабанил не палочками по ее барабанной шкуре, но сердцем — в ребра, но кровью — в висок, но ею же — в барабанные перепонки свои, но воплем — в чужие. Вот почему, умирая, ты сможешь сказать: Руку на сердце, я был неплохим барабанщиком перед Богом. Похороните же с почестями. Только попусту в изъян не вводитесь — саван не шейте. Обрядите в рубаху — и баста. На память о том моменте, когда я жил, был, боролся и барабанил. И если угодно — мыслил. Ты мыслил как куколка. Как индивидуум. Как поколенье. Как класс. Потому что тебя было много. Гораздо больше, нежели платьев в фигляровском твоем шкапу. И больше, чем тех эпизодов. Однажды ты оглянулся и понял то самое, что за век до того осознал Уолт Уитмен, мечтатель заморский. А именно, ты многолик и массов. Тебя было столь много, что хватило бы на батальную киномассовку. Да что массовка. Достало бы на хорошую гекатомбу. И осознал, что едва ли не каждый из твоего бесчисленного числа окуклен тебе подобно — обряжен в ту же холстину. И ужаснулся ты за злосчастный народ свой, рожденным в смирительной косоворотке. И язык его стал тебе горек. И исполнилось предреченное им в видениях ранних лет. Опечалившись за него, разделил с ним заботы и возлюбил его. Он растворился в твоей крови, стал пыльцою на крыльях в те дни ты раскуклился и воспарил. Но не волшебной набоковской бабочкой, а угрюмым и серым ночным мотылем, окрыленным непреходящей тревогой. Правда, лучше парить угрюмо и серо нежели не парить никак. Поступая указанным образом, ты осознавал себя малой, но вольной молью родного наречия и лопотал воспарять все выше. Однако же в целом язык — по-прежнему — влачился внизу, во праге немилой юдоли, или лежал, как бесправный больничный труп, потому что казавшееся в бреду молодого ничтожества мантией Великого Инквизитора было на деле красным смирительным. И тупые бескрылые препараторы над языком твоим все глумились, взяв. О несчастный, бессильный, окуклен и оглуплен, говорил ты себе о нем. И молился: Господи, сохрани и помилуй присущее нам наречие ибо иным не владеем. Сохрани и помилуй нас, тревожных его мотыльков, слабо реющих по свету и мельтешащих среди других языков и народов. От Упсалы до Бузнос-Айреса. Нас, угрюмых и серых, носящих на крыльях своих прах его летописей и азбук, пепел апокрифов, копоть светильников и свечей. Нас и тех, которые ищут выхода из смирительных обстоятельств, чтобы воспарить вслед за нами. И тех, что не ищут. И тех, что не воспарят. Воззри на нас и на них. Поговори к нам высоким Твоим эсперанто. Дай знак. Укрепи. Наставь. Подтверди, что Аз Есмь и что это уже не сон, а явь. А сон — разбуди и откройся. Лишь мне малому мотылю. Мне, молящему. Мне, праху и пеплу. Шепни на ухо. Прошелести опавшим листом — листом ли рукописи — бамбуковой рощей за что?

ВЫЗОВ БРОШЕН... ВЫЗОВ ПРИНЯТ!

«ЛГ» и прежде не уклонялась от дискуссий, зачастую старалась вызвать их, дать возможность скрестить на своих страницах шпаги самым сильным и дерзким оппонентам, чтобы тем способствовать выяснению истины. Тем более мы не намерены уклоняться сейчас, когда со страниц газет и листовок, с митинговых трибун все чаще бросается вызов правительству, высшему руководству страны, когда от исхода дискуссий будут зависеть не личные судьбы спорящих, а, без преувеличения, судьба огромной страны, Европы, мира.

Мы намерены под этой постоянной рубрикой давать слово представителям самых серьезных экономических альтернатив — и, разумеется, тем, кто удерживает в руках непокорное кормило власти.

Те, кого страна еще не знает, разве могут образовать правительство национального доверия?

Станислав ШАТАЛИН

НЕ ТЕРЯТЬ ГОЛОВЫ!

РЕШЕНИЯ последнего времени по их масштабности соизмеримы с Октябрьской революцией. Во всяком случае, они отметили рубеж, с которого возвращение к командно-административной системе сделалось невозможным. Старый аппарат, который обеспечивал хоть какое-то управление экономикой — пусть плохое, диктаторское, неэффективное разорительное, но ведь было управление,— этот аппарат практически рухнул. Мы еще живем в мире застоя, сталинизма, тут не нужно иллюзий, но административно-командная система уже не существует именно как система. Это может показаться парадоксальным, но я уверен, что в нашем крайне политизированном обществе сейчас вернуться к административно-командной системе было бы во много крат труднее, чем продвигаться к эффективной рыночной экономике.

Конечно, последние два года наша экономика не столько движется к рынку, сколько откровенно разваливается. Первые месяцы 1990 года показали — никаких перемен к лучшему, даже ухудшение во многих позициях. Если дела и дальше пойдут так же, мы вместо обещанных 60 миллиардов дефицита госбюджета будем иметь 85—90 миллиардов рублей. Статистика нам будто обнаруживает рост производства товаров и услуг, но наше в этом росте инфляционный компонент — никому неведомо. И не могу не согласиться с крайней степенью тревоги, которую вызывает у Василия Селюнина нынешнее состояние нашего хозяйства. Но отмечу то, чего он, скорее всего, еще не знал, когда писал статью: руководство страны приняло решение радикализировать реформу. И это не просто хозяйственное решение. Как член Президентского совета могу сказать: сделан политический выбор.

Статья Селюнина мне в целом нравится. В историческом плане мы действительно, пожалуй имеем последний шанс выкарабкаться с обочины на столбовую дорогу цивилизации. Других вариантов попросту нет. Без частной собственности во всех ее видах, без создания мотивационных механизмов, которые были бы не слабее чем на Западе, мы не включим мощный двигатель саморазвития.

Но меня, давнего «рыночника», начинает беспокоить распространяющееся в нашем обществе нетерпение и даже нахлестывание процессов перехода к рыночной экономике. Без создания инфраструктуры рыночного типа, организационных и политических структур, без выработки «рыночной» культуры, без тщательно продуманных механизмов социальной защиты населения, без передачи реальной власти реальным же Советам — без этого всего введение скоропалительного, в порядке «шоковой терапии», рынка было бы (при всем моем огромном уважении к Селюнину) большой экономической ошибкой. Может, не меньшей, чем повальная коллективизация.

Это вовсе не значит, что я за растягивание перехода на несколько лет. Можно сделать грамотный переход за год, за месяцы, но нужно делать его именно грамотно, продуманно до мелочей. Если просто взять да объявить «шоковую терапию», нас завтра же сметут — Селюнина ли, Шаталина-Рыжкова, не имеет значения. СССР не Польша. Мы не одна нация (объединенная к тому же одной церковью да еще колоссальным авторитетом римского папы), наше правительство не имеет кредита доверия, и так далее.

Однако ж не могу согласиться и с другой крайностью, с нагнетанием страстей по поводу якобы неизбежных страшных бед, которые ждут нас на переходе к рынку,— жуткой безработицы, чудовищной дороговизны, снижения потребления и спада производства. Любопытно, право, как в этих пророчествах дружно смыкаются наши «правые» и «левые». Я же не считаю эти беды неизбежными, ибо как профессиональный экономист вижу целый ряд способов обойтись вообще без существенных осложнений (по сравнению с нынешним кризисом, разумеется). Если мы подготовим мощный запас потребительских ресурсов, вовремя бросим их на рынок, свяжем «горячие» деньги, выпустим акции и облигации, увеличим ставки процента, начнем продавать землю и тут же обеспечим реальную свободу предпринимательства во всех сферах, переход пройдем практически без падения уровня жизни.

Но мы еще к этому не готовы. Закон о собственности плохой, он запрещает реальную частную собственность, запрещает так называемую «эксплуатацию», его надо еще дорабатывать. Закон о земле тоже плохой, он не решает земельной проблемы в селе, не позволяет покупать землю горожанину. Почему? Мы никак не введем индексирование цен и доходов, а без этого не сможем защитить в предстоящем переходе интересы самых разных социальных групп — от пенсионеров, студентов, матерей-одиночек, которым могут грозить серьезные проблемы, до рабочей «аристократии» и ученых, которые могут просто массами податься за границу, оставляя нацию без рук и мозгов. Надо готовить меры защиты интересов всех, кто может пострадать от роста цен, от изменения структуры занятости, а пугать друг друга тысячами процентов инфляции и миллионами безработных — зачем? Это не очень серьезно, по-моему.

Что еще хотелось бы подчеркнуть в предложениях Селюнина? Ясно, что госсобственность полностью обанкротилась. Проблема в другом: как нам теперь вести приватизацию всего того, что мы привыкли считать государственной собственностью и что, по сути, было ничьим? Мой уважаемый друг подразумевает, видно некие простые способы. Но так ли они окажутся просты? Селюнин говорит, к примеру, «когда квартиры раздаются вовсе даром, жилищную проблему не решить не только к 2000 году, а и к 3000-му». Но как «прекратить бесплатную раздачу квартир»? Ведь в жилье нуждаются как раз малообеспеченные и многосемейные, то есть те, кому заведомо не под силу выложить за квартиру 15—20 тысяч. Зато у кого деньги водятся, тот не в общежитии живет. А как заставить его заплатить за бесплатную, однако принадлежащую ему по закону квартиру — не знаю. Между тем в политическом плане проблема жилья — из острейших, и нельзя просто так, без серьезной проработки обещать людям: вот введем платное предоставление квартир, и проблему снимем.

А вот чего у Селюнина нет, но что действительно входит в число «последних шансов», — мы должны определиться по отношению к иностранной помощи. Без крупномасштабной помощи Запада современную рыночную экономику мы не создадим. Кто проповедует автаркию, тот обманывает наш народ. Кто говорит, что мы этой помощью заведем страну в кабалу к капиталистам, тоже обманывает народ. Скажу так — нам не нужна благотворительность Запада (хотя от бескорыстной помощи отказываться не след), нам нужны кредиты под потребительские товары, нам нужен импорт капитала, импорт мозгов, нужно постараться взять от Запада все, что можно, по части организации экономики. В любом нормальном государстве все только рады, когда иностранный капитал приходит в страну: новые рабочие места, приток валюты, новые товары на внутреннем рынке. Мы же пугаем себя — распродаем страну, сдаем какие-то позиции. Если мы хотим накормить страну «измами», то эти страхи оправданны, но если хотим иметь досыта хорошего продовольствия да при этом обуться-одеться и вообще замить наконец по-людски... Или «измы», или мясо — вместе не получится.

Пока же «платежеспособный» авторитет страны на Западе падает. Два-три года назад ситуация была гораздо более благоприятна для нас, нынче из-за внутренней нашей нестабильности коммерческие банки просто-таки вздули ставки. Государственные, федеральные банки могут дать деньги, прямо скажем, только под Горбачева, под реальные изменения в стране. Некоторые и на это говорят: что ж, мы будем подстраиваться под чье-то там мнение? Тоже несерьезно. Или мы хотим поднять свою экономику и войти как честные, сильные партнеры в мировое содружество, в Международный валютный фонд, в торговые соглашения, или нам милее нищая обочина.

Не могу согласиться с Селюниным и в некоторых существенных пунктах его статьи. Так, уменьшение выплаты незаработанных денег и увеличение выпуска товаров есть отнюдь не глупая и даже вполне традиционная мера оздоровления рынка. А вот раздача «трудовых» акций работникам «Уралмаша» представляется мне мерой полуфеодальной, мало чем напоминающей современные рыночные отношения. И вообще в его рассуждениях о рынке слишком много трюизмов, хотя и они для нас пока всего лишь «модели».

И еще по одному вопросу надо внести наконец полную ясность — по социальной неоднородности: нынешней, которую всячески маскируем, и будущей, которая неизбежно и необходимо усилится. Наше общество давно расслоено, пора это честно признать и поставить все на свои места — сказать народу, кто сколько зарабатывает и кто как живет. Объяснить, что у нас существуют социальный паразитизм, иждивенчество, уравнительность, с которыми следует беспощадно бороться, но есть и оправданный разрыв в доходах, который следует поощрять, чтобы воссоздать разрушенные мотивационные механизмы.

Что касается альтернативы нынешнему руководству страны, правительству, то тут у Селюнина я вижу существенный логический пропуск. Предполагается, что где-то уже существуют люди, знающие точный рецепт успеха и располагающие всеми данными — опытом, волей, авторитетом и так далее, чтобы заставить действовать по этому рецепту 15 республик, сотни народностей, множество религий и вообще почти триста миллионов личностей, разбросанных на одной шестой части земного шара. Где эти выдающиеся люди? Кто они? Если это парламентарии, которые утверждают и контролируют правительство, то им нет нужды садиться за «круглый стол» с теми, кого они в любой момент могут вызвать для отчета по любому вопросу. Если это крупные экономисты, которые до сих пор не участвуют ни в работе парламента, ни в работе правительства, то в чем заключена их блистательность? Разумные политики и выдающиеся юристы, которых страна узнала благодаря трансляциям съездов, уже все при деле, а те, кого страна еще не знает (может быть, не менее разумные и выдающиеся), разве могут образовать правительство национального доверия? Найдут ли они палочку-выручалочку для решения, скажем, межнациональных проблем? И, право же, не знаю, стоит ли прекрасному публицисту так сердито говорить о руководителях Министерства обороны МВД, КГБ? Не упрощенчество ли — видеть во всем злонамеренность тех или иных людей?

Но главное не в этом, разумеется. Надо называть вещи своими именами. Выражая недоверие правительству сегодня, когда утверждается институт президентской власти, мы оказываемся на грани недоверия Президенту. Беря в союзники «национально-освободительные движения», те или иные фракции в Советах, «прогрессивные части» социальных групп, мы берем четкий курс на раскол нашего общества и развал государства, а засим ставим крест на экономической реформе. Борьба за власть и движение к процветанию несовместимы, как говорят математики, по определению.

При этом в принципе, я хочу подчеркнуть, идеология наших радикальных демократов верная, но она уж очень часто допускает заносы и перехлесты. Ей не хватает продуманности, взвешенности, если хотите — милюковщины. Не хватает порой и трезвой оценки собственных достоинств и возможностей (здесь полезно было бы сравнить свой уровень с профессионалами Запада). А если вернуться к статье Василия Селюнина, то это боль и крик честного, смелого, умного, глубоко озабоченного судьбой своей страны гражданина, которому лично я очень доверяю. Прислушаться к его тревоге, понять ее, сделать выводы необходимо нам всем — а прежде всего правительству. У него действительно остался последний шанс.

У нас нет времени толочь воду в ступе, мы начинаем формировать теневой кабинет.

Василий СЕЛЮНИН

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

ПОМНЮ, сановный докладчик обвинил одних и тех же экономистов в двух грехах разом: во-первых, критикуя, они ничего не предлагают, а во-вторых, подкидывают докладчику нехорошие идейки. Так не предлагают или все-таки подкидывают? Видно, так уж устроен человек: ему не нужны чужие мысли, если они не подкрепляют его собственных. Что ж, объяснимся еще раз.

Но раньше того давайте условимся, что понимать под рыночной экономикой. Маститые реформаторы рисуют нам прекрасную перспективу: вот уже дадим предприятиям самостоятельность, они станут работать не на план, а на потребителя, начнется охота за покупателем, конкуренция, и получим мы достаток всякого добра. На получим. Товарный рынок сам ничего не производит — он всего-навсего выявляет, какая продукция нужна, и посылает сигналы другому рынку — фондовым биржам, где продают и покупают акции. Здесь, на рынке капиталов, совершается самое главное: акции предприятий, способных изготовить дефицит, повышаются в цене. Таким образом происходит подпитка перспективных производств капиталом, с ним и всеми нужными ресурсами.

Ясно, однако, что, приобретав акцию, человек покупает часть предприятия и становится частным собственником этой доли (частной я называю любую не казенную, не государственную собственность). Но и этого мало. Деньги, переместившиеся в угодное товарному рынку производство, бесполезны, если на них нельзя нанять работников для расширения дела. Нужен, стало быть, еще и рынок труда. А чтобы свободно продавать на нем свою рабочую силу, человек опять-таки должен стать ее собственником. Видите, какая цепочка выстраивается: желаешь иметь насыщенный товарный рынок — вводи рынки капиталов и труда, что в свой черед требует приватизации собственности.

Чисто технические приемы разгосударствления производительных сил многократно описаны, в том числе и в моих статьях, и особой сложности не представляют. Скажите на милость, что нереалистичного в предложении отдать, в еще лучше — продать землю всем, кто не утратил желание работать на ней? И не только землю — отдайте крестьянину созданный его трудом пай производственных фондов колхоза, чтобы фермер не с нуля начинал хозяйство. Какие препятствия в том, чтобы выдать работникам «Уралмаша» акции сообразно трудовому вкладу каждого в создание этого промышленного гиганта — с правом продать их, подарить, передать по наследству, да хоть с кашей съесть? Раз казна не будет впредь инвестировать сюда капиталов, при жизни одного поколения государственная собственность уступит место акционерной (частной). Почему нельзя хоть завтра разрешить наемный труд, то есть ввести рынок труда? Что мешает созданию банков, которые на свой риск и страх предоставляли бы на коммерческих началах кредиты тем, кто затевает собственное дело в одиночку или компанией?

Нормальная экономика немыслима без единой денги как эквивалента обмена. Покамест же у нас цена каждого товара измеряется своим особым рублем — вроде как резиновой рулеткой. Скажем, внутренняя цена угля — 18 рублей за тонну, а шахтеры Кузбасса продали топливо в Японию по 75 долларов. Рубль, оценивающий этот товар, выходит, в четыре с лишним раза дороже доллара. А вот в Мюнхене я видел, как менялы дают за рубль 6 центов, и туристов, покупающих, к примеру, колготки, этот курс устраивает. Так сколько все-таки стоит рубль? Мы узнаем это, как только цены будет определять рынок, а не чиновники. Тогда простой технической операцией станет введение конвертируемости рубля.

Суть дела на а том, что у радикальных экономистов нет четкой программы перехода к рынку. Наверное, такая программа разработана достаточно детально, мы знаем, какие меры надо проводить и в какой последовательности. Но экономисты не принимают решений. Мы можем лишь в бессильном отчаянии наблюдать за властями, которые довершают разгром отечественной экономики, ведут страну к катастрофе, выдвигая один фантастический план за другим. Роковые решения, вступившие в полную силу с января 1988 года, в кратчайший срок развалили потребительский рынок. Никто не посмеет сказать, будто мы не предупреждали о последствиях правительственных мер—письма остаются, читайте. Ладно, прошлого не воротишь, подумаем, как жить дальше. Мы не первые попадаем в подобную передрягу, и кто поглупее, все рассуждали одинаково: распад торговли — это когда много денег и мало товаров, давайте раздачу денег ограничим, а выпуск товаров увеличим, тогда одно с другим уравновесится.

В эту логическую ловушку правительство, разумеется, угодило, хотя таким способом оздоровления рынка не достигал еще никто и никогда. У всех на памяти свертывание прошлым летом и осенью программа чрезвычайных мер. В десятой книжке «Нового мира» я однозначно предсказал: эти меры приведут не к оздоровлению экономики, а к быстрому и резкому ухудшению ситуации. Ах, как хотелось бы ошибиться в анализе, обмануться в расчетах! Да где там... Передо мною статистическая сводка за январь — февраль. Невзирая на свирепые запреты, денежные доходы населения растут даже быстрее, чем в прошлом году,— они поднялись аж на 14,8 процента. Вопреки сногсшибательным планам, выпуск потребительских товаров увеличился весьма скромно, да и то за счет роста цен и проклятущей водки. Если так пойдет дальше, за год доходы возрастут на 75—80 миллиардов рублей, а товаров прибавится миллиардов не 25. К полутриллиону денежных сбережений добавится еще пятьдесят миллиардов пустых рублей.

Это что, оздоровление рынка? Не надо быть Адамом Смитом, чтобы сообразить: если картошка на базаре стоит четыре рубля, а мясо в магазине — два рубля, то хоть удвой производство мяса, его расхватают, и магазинные полки опять будут пусты; когда квартиры раздаются вовсе даром, жилищную проблему не решить не только к 2000 году, а и к 3000-му.

Похоже, правительство осознало наконец провал оздоровительной программы и готово начать переход к рынку не за пределами 1992 года, как планировал академик Л. Абалкин, а незамедлительно. Объявлены заголовки трех десяток новых законов и постановлений рыночного свойства — проекты должны быть представлены на рассмотрение до 1 мая. С известным удовлетворением я обнаруживаю в этом перечне резко подброшенные нами «чуждые идейки», которые вчера еще с бранью отвергались: о свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства, об антимонопольных мерах, о шоковой терапии, о рынках средств производства, капиталов и труда. Приоритет нам ни к чему, лишь бы дело шло. А тут у меня опять сомнения. Разъясняя новую программу, М. С. Горбачев оговорил: «...государственная собственность останется преобладающей». Тогда рыночной экономики как не было, так и не будет. Один из кураторов реформы А. Орлов заявил от имени правительства: «Сегодня среднемесячная зарплата рабочих — 240—260 рублей, колхозников — около 200, кооператоров — 500—600. Несоразмерно! Значит, требуется регулирование со стороны государства». Одной этой идеи довольно, чтобы блокировать все новации. А Орлов допускает далее карточное распределение товаров. Рынок по карточкам? Оригинально до слез.

Наши великие реформаторы все еще мечтают изобрести нечто свое, в мире невиданное: постановление правительства проклямирует переход не к рыночной, в, видите ли, к «планово-рыночной экономике». Но совмещать план и рынок — это все равно что вставлять в наручные часы детали от часов песочных. Испортишь те и другие, вот и все.

Допустим, однако, что на сей раз будет подготовлен абсолютно верный пакет документов. Сможет ли нынешнее правительство реализовать этот план? Навряд ли. Ведь требуются тяжелые, непопулярные решения. Хотим мы того или нет, надо отпускать как розничные, так и оптовые цены. И чрезмерно оптимистичным представляется прогноз председателя Госкомстата В. Кириченко: дескать, при ценообразовании по законам рынка потребительские товары подорожают процентов не сорок. Скорее всего цены вырастут не на десятки процентов, а в разы. Не период структурной перестройки экономики в угоду рынку неизбежна безработица. Придется прекратить бесплатную раздачу квартир, ограничить бесплатное здравоохранение. А теперь, представьте, правительство объявляет: семьдесят лет наша партия вела страну не туда, мы, со своей стороны, за годы перестройки развалили хозяйство, зато теперь поумнели и опять готовы вести вас к светлое будущее через безработицу и инфляцию. Согласитесь, довольно-таки нелучезарно, не кругло выходит. Возможны политический взрыв и экономический хаос. Но то и другое не просто возможно, а совершенно неизбежно, если снова отложить тяжелые решения.

Исполнить их, на мой взгляд, способно не нынешнее, в совсем другое правительство. Такое, которое имело бы право сказать: партия оставила нам страну в ужасном состоянии, и нам нечего предложить вам сегодня, кроме пота и новых тягот. Жизненный уровень будет падать. Избежать этого нельзя, можно лишь облегчить наше общее бремя. Скажем, в условиях рынка отпадает нужда в дотациях на поддержание низких цен. Около 90 миллиардов рублей можно раздать на руки — в первую очередь бедным. Поскольку соцлагерь рухнул и лагерники разбежались, с сегодняшнего дня продаем наши товары за рубеж только по мировым ценам и за настоящие деньги, что тоже облегчит наши тяготы.

Такое правительство могло бы еще овладеть событиями, как это сделала команда Мазовецкого в Польше. Будь там прежнее власть, при их инфляции страна наверняка не вылезала бы из забастовок. За полгода правительство «Солидарности» простенькую, но важную задачу решило: рынок сбалансирован, хотя и на диком уровне цен. Стал конвертируемым злотый, пусть пока он стоит и недорого. Видимо, низшую точку падение поляки проходят, брезжит начало стабилизации.

Мы опаздываем с формированием правительства национального доверия — завтра может быть поздно. В недавнем выступлении по телевидению академик Л. Абалкин, автор с треском провалившейся оздоровительной программы, намекнул: готовы, мол, сесть хоть за «круглый», хоть за квадратный стол со всеми, у кого есть здравые мысли. Значит, мы будем высказывать идеи, а он сортировать их: это годится, а вот этого не надо?

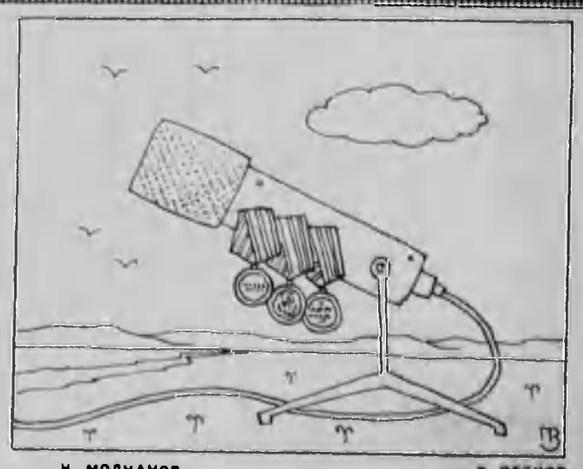
У меня другое предложение по повестке дня гипотетического «круглого стола»: давайте-ка обсудим порядок передачи власти новому правительству. На первый случай согласны на коалицию. Теперешние министры культуры, иностранных дел, охраны окружающей среды вроде бы справляются — пусть работают и дальше. А вот оборонное ведомство отдайте. Ведь дошло до того, что в Вильнюсе ретивый секретарь по телефону вызывает войска для дележа имущества расколовшейся партии. Мы намерены распустить политорганы и партийные организации в армии — теперешнее руководство этого не сделает. МВД тоже за нами — у вас оно недурно разгоняет стихийные митинги, много хуже у него выходит с обузданием преступности. Профессиональная милиция, как и армия, — вне политики. Комитет госбезопасности не поддается какой-либо реорганизации. Его председатель на днях прямо объявил в печати: «партия не может самоустраниться от подбора и расстановки людей, работающих не сложных участках государственной деятельности, в том числе связанной с обеспечением безопасности государства и общества». Что ж, не может — не надо, придется создать службу госбезопасности на новом месте, чтобы она служила не партиям, а государству и обществу. Для разрешения межнациональных конфликтов у вас не оказалось иных средств, кроме сердитых манифестов и танковых демаршей, — сдайте и тут полномочия. И уж само собой, мы формируем мозговой центр экономических преобразований.

Такова в первом приближении повестка «круглого стола». Не готовы обсуждать ее? Тогда до свидания. У нас нет времени толочь воду в ступе, мы начинаем формировать теневой кабинет, который попробует перехватить власть в тот момент, когда она выскользнет из ваших рук, но не успеет еще шлепнуться в грязь. Не перехватим мы — перехватят бандюги, сбитые в мафию, в блоке с правыми.

Но кто такие «мы»? Считаю просто неприличным пояснять, что менее всего имею в виду собственную персону. Люди есть, страна узнала за последние годы выдающихся юристов, блистательных экономистов, разумных политиков и парламентариев. Сегодня готова и социальная база для правительства национального доверия — общедемократическое и рабочее движение, сильные демократические фракции в местных Советах, прогрессивная часть офицерского корпуса в армии. Наш естественный союзник — национально-освободительные движения. Не хватает одного — организации, которая взяла бы на себя инициативу формирования новой власти. Но свято место пусто не бывает. Делать надо, и все получится.

КАК ВЫХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСА

КЛУБ «12 СТУЛЬЕВ»



Н. МОЛЧАНОВ

В. ПЕСНОВ

левиафан

1. МАЙСКАЯ НОЧЬ, или Так говорит Стародубцев

Юрий ЧЕРНИЧЕНКО

ОЖИДАЛИ печатных бюллетеней — проголосовать за Горбачева и Верховный Совет — и бродили по пустым ночным стогнам майского Кремля. Конечно, и купола мерцали старым золотом, и кущи сиреней у Ивана Великого источали свежесть, напоминая о калитках-накидках, на променаде известном миллионам по живописному полотну «Сталин и Ворошилов в Кремле», угадывались тени забытых предков. Но было, однако же, поздно, томила неприкаянность вокзальная твоя ненужность, а подлых бюллетеней — как Германа! — все не было. И почему начальство никак нельзя выбирать с утра пораньше, на свежую голову, а непременно надо ночной порой.

Когда все доброе ложится
И все недоброе встает,

— как определил А. С. Пушкин?

Шла, таким образом первая ночь первого Съезда все переворотилось и не спешило укладываться. Озонный хмель выборов еще шумел в головах, лев на одной поляне шутил с агнцем. Страна трезвенно праздновала приход неведомой демократии и виновато озиралась, словно турист-кулундинец в парижской «Галери Лафайет».

Ко мне подошел Стародубцев, председатель председательского корпуса России, и стал неспешно, еще по-свойски наставлять. Как старший товарищ, неглупый и чуткий. Зачем связался с Кузьмичевым? Авантюрист политическая пустышка, ни черта из его аренды не выйдет и выйти не может. Надо укреплять крупные хозяйства, снабжать их по-настоящему, только тут путь к решению проблем! Нужно сплотиться всем депутатам аграриям, создать парламентскую группу — и требовать, теперь уже **требовать** равноправия. И жалко, что такой серьезный человек (значит, мне давался шанс!) заблудился в трех соснах.

Мысленно я прикидывал: три прыжка — и за Царь-пушкой, там короткими перебежками до Царь-колокола... Но статья 6-я еще не отменялась, в стране правила истина в конечной инстанции — и побег просто не имел смысла.

Кузьмичев, директор племзавода «Зыбино», был из тульских еретиков — и тем конфузил туляка же Стародубцева. Раздал все имение свое «делателям» (точно по евангельской притче), а потом от арендаторов же и потерпел. Доярки на внутренних деньгах-чеках прогорали, классово обижались на слово «банкрот» — и старались и в будних аренды заботливо отнести баллон молока или сумку с дертью от **якобы** своего по аренде поголовья в несомненно свое, хотя и подсобное хозяйство. Родной госплемзавод лежал просторным китом, от него весь коллектив муравьиными тропами трудолюбиво тянул нес и вез что мог и как умел. А директору, вообще активу надлежало тропы пересекать, муравьев устыжать-обезвреживать, кита охранять и возбуждать его жизнедеятельность. Поскольку в наших муравьиных тропах читалась природа собственности, Кузьмичев заключил: «из этого роя не выйдет» крупных сдвигов, хотя именно арендную организацию труда благословили ему специальным посещением члены Политбюро Е. К. Лигачев и В. П. Никонов. И затеял еретик кооперативное движение. Внутри племзавода. Чтобы всем на фермах работать, а директору наряду со всеми кредиты в банке брать на свой отнет, молоком и прочей продукцией те долги погашать — и не транспортировать, значит, под полой и в ночи материальные ценности от одного общественного уклада к иному. Замыслом было — выкупить племзавод у государства и вести дело кооперативом.

У лафета Царь-пушки мне было сообщено, что Кузьмичев — скверновец. И даже укокошил кого-то! Чему дивиться? Наш способ споров стабилен: «Нету студента без диамата — нет оппонента без компромата». Нужно победить — добудь компромат. Нету — сделай!

Увы, мне тоже совсем недолго оставалось прыгать по лужайке при безлозубых улыбках рослых зверей. На скате 1989 года именно тов. Стародубцев В. А., председатель Всероссийского совета колхозов, отправит форменный донос в ЦК КПСС в хорошей стилистике 1937 года: журналист Черниченко Ю. Д. порочит колхозный строй, крестьянство, руководителей колхозов и совхозов, поэтому просить ЦК КПСС, Комитет Верховного Совета по аграрным вопросам и продовольствию оказать через соответствующие органы (какие именно — КГБ? МГБ? Прокурора Сухарева? — говорили бы прямо, Ю. Ч.) свое воздействие на средства массовой информации, а оного Черниченко из обращения изъять. На сенце посвященных это звучало излишне: «Просить председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию т. Ненашева М. Ф. рассмотреть вопрос о целесообразности использования журналиста т. Черниченко Ю. Д. как комментатора по вопросам сельского хозяйства на Центральном телевидении». Свежачок! А то все откапываете истлевшие доносы на Лубянку и качаете головами. Не нами заведено: без стука не входить. Даже в новое время.

Но той ночью в фольклорной тени Царь-пушки мне предлагалось определиться с кем, собственно, я?

У Иммануила Канта пять, кажется, доказательств бытия божия? Доказательств необходимости колхозов — шесть, и в основном они строятся «от противного» — если не то как же? Всю следующую зиму — зиму единственной, пожалуй, на нашем веку взаправдашней дискуссии на серьезную тему — эти аргументы кочевали из статьи в статью, от «Взгляда» к «Пятому колесу», потом — к словесным пожарам в комитетах Верховного Совета. Но только двое на целом свете знали, что это все лишь повтор произнесенного у колеса Царь-пушки сиреневой ночью в Московском Кремле.

Замечательно, что о **ненужности** колхозов никто публично и не заикался — откуда ж вроде взяться доказательствам **ненужности**? Значит, шапки и вправду подчас вспыхивают сами собой. «Правда» лимою полемически отстаивала **полезность** нашего аграрного устроения. **Вредность** же словно сама собой разумелась и ни в каких подтверждениях не нуждалась! Да и что темнить: предкарточное состояние социального пропитания на 15-м мирном году (и то только потому «пред», что дохтойные карточки давно уже отоварить нечем) — гул пальба за кусок лаваша хлеба, пури паляницы — в буквальном или обобщенном смысле — навели широчайшие массы на мысль: что у нас — голод. Не такой, какой, случается, наступает и с новым урожаем уходит, оставляя в летописях или статистике жуткие цены на хлеб, а голод как стабильная норма естества, как постоянное многолетнее недоедание, при котором страна отличается от держав соседних тем, что в ней не так, не столько не то едят — и не столько думают, хлопочут о еде, как сопредельные люди. И сопредельные — финны, скажем, или напротив, турки — вовсе не зависят от того, подвезем ли мы им чего-нибудь или нет, мы же стали жить, как на полярной станции, не подвезут с Большой земли — каюк, белые без молнии.

Замечательно также и то, что давний и кадровый представитель страны, председатель двухзвездный с его пристым лозунгом — «приезжай ко мне увидишь!» — стал со скоростью свободного падения терять социальную функцию Надежды, мнению внушения — «ничего, скоро наедим». По-человечески говоря, тут даже печаль, потому что народ все больше правды я вообще не видал двухзвездного в каком-нибудь унылом, бракованном олицетворении. Наоборот — здоровый дух ищет и находит себе для немного бытия, как правило, решительное тело. Естественно, что в большинстве своем именно такой контингент, ловущий подражать уже физической своей завидности и был послан аграрным народонаселением представлять свои беды и несовершенства в парламент.

Падение же. Отчасти сказался эффект медуновых рашидовых, которые, увы, заставили широкие слои буквально воспринять вопрос поэта: «Если звезды зажигают — значит это кому-нибудь нужно?» Конечно, наметился и тип хозяйственного диссидента, передовика-неслуха, который копил выговоры, инфаркты и к публике вышел в единоборстве с **прежним** начальством. То, **прежнее**, смело могучей волною обновления, временем социальных реформ — и знаком новизны **нового** начальства оказалось прежде всего награждение (или признание, выдвижение) прежнего баламута и экономического озорника. Но в традиционном сознании масс всегда сидело — «богатому и черт лодьку качает!». Постоянное появление двухзвездного на ТВ, его простецкие мужицкие беседы через экран с народом в майках или в халатиках, узнаваемость пуще космонавтской привели к неожиданному: э, да ему, богатому, не просто везет, а в судьбе его принимает деятельное участие некий черт и качание лодьки — самый невинный из видов чертовой службы. «Черта, черта подай на ТВ, пущай все выложит!» — суммарное требование политизированного зрителя. И перебор с телепропагандой привел еще и — перестали носить ордена! Поначалу странен был вид без золотой брони на груди. Что-то дискомфортное, стыдливое чувствовалось в поблекшей внешности. Некомплект! Однако притерпелись, научились узнавать друг друга. Разве что принятие двухзвездного за норму, за аграрный стандарт, за **состоявшегося** человека — и, следовательно, понимание долгов, запустений, возвращений серого волка на пажити немые как аномалии, случайности на правильном и победном пути — так увы и не вернулось.

Стародубцев сказал:

— Разрушать — не строить! Нарастащите колхозы, а кто страну кормить будет?

Под **растаскиванием**, вы догадались, первое доказательство разумеет покушение на монополию колхозно-совхозной системы (практическая разница между колхозом и совхозом мала). Уже сама мысль, что надо еще доказать в соревновании, какой бегун быстрее, а значит, запустить на дистанцию не одного, принимается за покушение на строй. «Только враги народа и контрреволюционеры могут ставить вопрос о ненужности колхозов и совхозов», — понятно учит товарищ Сталин (т. 13, стр. 194). Но используется и память нации о «великом переломе». Разрушили 25 миллионов хозяйств, растащили нэповский механизм, загнали в 200 тысяч сталинских колхозов (теперь 26 тысяч, не больших) подлинных крестьян — и следом массовый голод, а скотный мор такой, что до сих пор поголовья рабочего и продуктивного скота не восстановили. Страшно? Еще бы! Значит, наш с вами статус кво — против **великого перелома** (пусть и наоборот) а Кузьмичев и иже с ним норовят вызвать голод.

И вновь Стародубцев сказал:

— Колхоз еще и не жил, как следует — донором был, им и остается. Вы до конца его вооружите — он за валит вас зерном мясом! Сопреть не дали — «демонтаж».

Из донора никогда чемпиона не будет, факт. Но и то верно: что донор стал — или иначе называть, кровоносной стал — вначале в механику системы агросуды изначально всегда лишняя рука на кранике, партия управление подачей кислорода и отсачкой крови есть единый блок механизма. «Говорят, что колхозы и совхозы не вполне рентабельны, что они поглощают уйму средств, что целесообразней было бы распустить их, оставив только самые рентабельные из них. Так могут говорить лишь люди, которые ничего не смыслят в вопросах народного хозяйства, в вопросах экономики» — и на этот счет сказал товарищ Сталин. Он учил, что рентабельность колхозов — дело наживное. Прошло почти 60 лет, шланг с кислородом утолщился, местами на лицо просто кислородное дутье, по рублю с двугривенным за литр молока! Но обширные части организма страны в смысле донорства теперь — полный амбец. Не отсосешь, кончай реанимацию. Грабящий обречен быть милосердным и постоянные **списания долгов**, прощение сотен миллиардов — такая же, оказалось, норма бытия, как при Сталине — нерентабельность.

И посещает тебя дикая мысль: может, не колхозы бедны — страна бедна для такой системы? Может, только нашей, отдельно взятой стране такой обогнавший время уклад не по карману? А государства с высоким доходом на душу населения, **цивилизованные**, как теперь говорят, смогли бы у себя сделать все колхозы богатыми, а колхозников — зажиточными? Но нет: Сталин (см. II Конгресс Коминтерна) наотрез отказал «капиталистически развитым странам» Америки, Германии, Англии в национализации всей земли «в первый же день пролетарской революции», а значит, и колхозы им не обломились! «Чем развитее капиталистическая страна, тем труднее провести национализацию всей земли, ибо тем сильнее там традиции частной собственности на землю и тем труднее, стало быть, бороться с этими традициями». А жа-аль...

Насчет же довооружения колхозов... Тут софизм Ахиллес и черепаха. До чего, до какого уровня? Чтобы кто, собственно, сказал — «будя»? Исходная мерка — фермер Запада, его оснастка недосягаема не потому, что у нас денег мало (а их мало), а потому, что бежать **по прямой** нельзя. Зигзаги удачи! Там — рынок, а рынок склонен к измене и перемене, как ветер мая Фермеру — то есть купцу-земледельцу — далеко не всегда нужно больше железок и кирпичей (основных производственных фондов). Для него могут быть важней и доходней вложения в землю (прикупить 100—200 акров!) или... в информатику. Компьютер — машина, которая ликвидирует земледельцу-купцу его отдаленность от мира (отрезанности не было никогда, отдаленность оставалась). Он перестает быть деревенщиной засельщиной. ЭВМ держит фермера в курсе **сиюминутных** цен всей планеты, учит **сегодняшнему** выращиванию тюльпанов или скрещиванию свиней и выбирает ему из веера решений наименее рисковое в этой точке и в данный час. Конечно, компьютер как средство смычки города с деревней гож лишь тогда, когда подключен в сеть. А для этого **должна быть** та самая сеть — сеть государства, континента, мира. Никто здравый не поставит же себе на хуторе телефонный аппарат, если проводок не протянут хотя бы к центральной усадьбе... Словом, фермеру теперь уже полезно вместо машины механической («мы с железным конем...») купить машину электронную. И символом времени стала ЭВМ.

Колхозу компьютер не нужен. На дух — и по ряду моментов. Цены утверждаются враз и надолго, а план, чтоб там ни болтали, спускается сверху. Вариантов не бывает — есть указания. Информация, какая положена сверху, опустится почтой, а снизу поднимется сводкой. Как случать-выращивать — специалист должен помнить сам, а перед случной кампанией ему напомнит «ЦЭУ». Сети нет — есть система. Она состоит из людей и их кормит В АПК: число кормимых — три миллиона.

Недавно Егор Кузьмич Лигачев до слез насмешил — нарочно, а может, и нечаянно — сопоставлением колхозного оснащения (основными производственными фондами) и американского фермерского. Дескать, она, вооруженность, у них сейчас вчетверо выше нашей, а урожайность обогнала нашу вроде только вдвое. Зато когда у них фондов было столько, как у нас сейчас, так они, срамцы, и нашего не снимали! Империализм в очередной раз получил мордой об стол — или тут прием Задорнова—Жванецкого...

Что такое «фонды»? Сколько тракторов «Беларусь» содержится в компьютере «Тошиба»? Сколькими тугим боевым лукам эквивалентен один автомат Калашникова? Некорректно? Согласен. Срамцы всегда снимали в принципе столько, сколько можно было продать. Возник совершенно новый рынок растительного белка («соя»), и сбор соевых бобов в США поднялся за четверть века на 400 процентов, узнал потребитель смысл в бройлерах — и цыпленок жареный как товар от практического ноля взлетел до четырех миллиардов штук в год. Итальянский крестьянин, от Ромула и Рема преданный винограду и оливам, в две пятилетки достиг мирового первенства по киви (экзотический фрукт такой, из Новой Зеландии). Основные фонды остались практически прежними, наловка в тоннах тоже, но килограмм киви дает впятеро больше лир, чем кило прозрачного золотистого винограда «Италия» (хрустящая мякоть, приторности нет, косточку легко отделить)...

Так что тут сопоставлять?

Колхозно-совхозная система бедна, это так. Но девиз «довооружения» способен будоражить только раннефеодальное мышление.

И еще Стародубцев сказал:

— Фермер **нам** просто дорог! Знаешь, во что обойдется оснастка фермерских хозяйств, если пойти этим путем? Можно на эти деньги обстроить все колхозы до уровня передовых.

Он прав в том, как дорог **настоящий** фермер. И именно **нам**, налогоплательщикам, морально-политическому советскому единству. Речь не о переяславском-смоленском фермере, каковой пока не является экономической силой, но об американско-канадском и общеевропейском, которым послушно платим дань едва ли не половину колхозного времени: 27 лет из шестидесяти. Страна за железным занавесом, оборвавшая все научные, кооперативные, технические и прочие связи с обыкновенным миром, втайне от своих людей вернулась через 10 лет после смерти Сталина к контактам с мировым капитализмом (а с кем же? не с компартиями же?), но — на конфузном, национально унизительном пути зернового импорта. Те миллиарды золотых рублей, что заготовками нашармака отняты у своего народа, давно выплачиваются... классовому врагу. Нет? А кому же? Пролетарию прерий? Батраку Рейна и Прованса? За проявление коминтерновской солидарности, за МОПР — и помощь рабочей Москве? Давайте без лапши на уши: выплачиваются международному империализму за то, что тот поддерживает своими поставками неработающий агроуклад. И тем на четверть века оттянул время кардинальных перемен — и еще, бог даст, оттянет... Неохота взмывать здесь до высот с масонами и «памятливым» бредом о заговорах и врагах, но что импортные истоки лежат, конечно же, в диктатуре над **союзником империализма** тамбовским мужиком, в продразверстке, бронепоездах Тухачевского, продармиях Троцкого, заложниках Кагановича, лозунге «пуля в лоб» Зиновьева во всеобщем «мы грабим награбленное» — факт безусловный, хоть и мучительный.

Эти тридцать, подчас сорок миллионов тонн годового привоза — будто найденные, и простые души агрогулага свыклись с ними, как человек привыкает к прогрессивке, премии, к тринадцатой... Я старался пробить в обращении аграриев к Съезду абзац о проклятом импорте, а Стародубцев: «Зачем? Терять тридцать миллионов тонн?!» С трибуны, правда, я выложил давнее свое соображение: объем закупок съестного за рубежом пропорционален неверию верхнего горизонта власти в живучесть колхозно-совхозной системы. Кому верят, тому дают деньги. Верили бы в колхозы — им бы и платили.

Ну, а дороговизна **внутреннего** фермерства... Того рязанско-казанского, кооперативного или нет, это уж его дело, но того, какое готово **само платить** за покупаемые (основные фонды) и **само продавать** изделия рук своих. Рождению такового обязательно предшествует раздел: это твое, а это, извини, мое. И не твоя печаль чужих детей качать. И его долги ни в коем случае Стародубцева (в понятийном смысле) не обременят, как товарища Сталина не заботили истинные заботы алтайских мужиков во время знаменитого путешествия... Естественно, такое фермерство — тоже проблема правового государства (налоги, учетные ставки, контрактации и т. д.), но как идут дела у них, мы, увы, будем узнавать через цены — как сейчас узнаем о подлинных делах системы по дальности перевозок мокрой колбасы и объемах импорта.

Вообще же говорить о дороговизне пропитания... Ну давайте совсем не есть! Да, прокормиться в нашей державе накладно: горожанин тратит на харчи 32, колхозник — 35 процентов совокупного дохода, а едят — как ни веселит статистика — средне. Средне между «отвратительно» и «социально опасно». Почему и жизненный срок советского мужика на 10 лет короче, чем у японца, и на 9 — чем у шведа, швейцарца... И поднять двух-трех «спиногрызов» тоже безумно дорого, проще воспитать не детей, а **ребенка**. Но как экономия на детях ведет к вымиранию нации, так и колхозно-совхозная дешевизна прокорма ведет в некий «четвертый мир». В самих каляканьях, что стране дорого, а что дешево, так дышит сталинское планетарное сознание, такая инерция решать за «массы», что человек с внутренним чувством времени и не калякал бы. Не подставлялся.

И снова сказал Стародубцев:

— Какой крестьянин, откуда вы его взяли? Где вы его видели — умелого, обученного, желающего рисковать? Кто вернется на хутор? Бросьте смешить.

И мощный хор — с Абалкиным, авторами «Правды», дискантами творческого шовинизма — рванул припев: «Где вы видали крестьянина, где вы видали его...»

Развяжите руки. Дайте размять занятья, опухли — и поговорим. Вот тогда поговорим!

Чего больше в том рефрене: мании величия? опасения, скорби, надежды, страха? Или ощущения, что Серп окончательно убежал за Молот, спрятавшись в индустриальной тени? В виду имеют, конечно, сельскую Россию, дупло дуба, про окружность спора нет. Что запад Украины, Закавказье, Молдавия, среднеазиатский скученный регион, не говоря уж о балтийских республиках, суть **крестьянские** края, то ли из-за сравнительно краткого царства колхозов, то ли по национальной психике, и живо готовы реагировать на **землю** и **волю**, сомнений не слышно. И голодуха там — развяжи только руки — мигом отступит, ясно. А вот дупло впрямь великовато: и Урал, и обе Сибири, и Север — окромя Нечерноземки...

Но за самим Стародубцевым, как тень, как мальчик из исторической драмы о царе, ходит Ваня Билюк. Он молдаванин, из Рышкан, выдержал конкурс на фермера (900 человек на 11 мест!), поселился в деревне Новая Новомосковского района под Тулой, за 70 тысяч кредита купил у совхоза «Путь к коммунизму» 1200 ненужных (совхозу) овец, завел из Рышкан пять семей земляков (осваивать дупло, так сказать), а РАПО, то есть опять-таки и лично Стародубцев, не дало тому Ване Билюку ни клочка земли, а отару в избу не спрячешь, ей пастбище нужно, только выгнал — вот тебе, фермер, акт за потраву, 20 тысяч рублей штрафа. Перспектив никаких, скот дойный купить не дали — помялись братья-молдаване и попылили назад. Легко представить, какое мнение о лидерах российских колхозов распространяют они теперь за Днестром и как выражают (молдавский язык тоже богат) нравственные оных качества... Но Ване, Ивану Михайловичу Билюку, отступать только в тюрягу, 414 голов уже сволок на мясокомбинат, а земли все нет, а кредиты висят... Стародубцев на съезд крестьян России — Ваня за ним туда, Стародубцев должен быть на депутатском клубе — Ваня в Москву, на Калининский. Да не просит искательно (у фермеров уже вырабатывается улыбка достойного нищего), а режет промеж глаз! В район едешь — Стародубцев, в совет колхозов — Стародубцев, в Верховный Совет — все тот же Стародубцев, так что, вешаться? У него черная «Волга» — у меня электричка, ему самолетом эмбрионы из Канады — я за хлебом грязь месси, он законы творит о земле — я ночи не сплю, спасаю овечек, это вы сделали равные возможности всем укладам?!.

Ваня, тут классовая борьба. Ты рождаешь капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе — и Стародубцев ведет диктатуру. Поэтому тебя нет. Крестьянина, который согласен на хутор, давно нет!

Знал бы Иван Михайлович русский язык в совершенстве — спросил бы:

— Повылазило?

Вам повылазило, что не видите крестьян России, получающих со своих марцелл, куда они оттеснены Великим Переломом, в 10—13 раз больше дохода (удельно), чем дает оказененная земля? Не видите растящих картошку в мералом болоте Сургута и помидоры в Мурманске, клубнику у высохшего Кара-Богаз-Гола и персики на шифере у Керчи? При свете факелов Тюмени можно еще сомневаться, есть ли в России нефтяники, но что гениальные мастаки агробиологии там в изобилии, в избытке — двух мнений нет!..

И сказал Стародубцев пятое:

— Вы, друзья, начали — договаривайте: а что со строем? Как его прикажете называть? Если вам, допустим, удастся восстановить частное хозяйство — как тогда именовать социальный строй в СССР?

На кардинальный этот вопрос давно ответил гимназист из анекдота: «Мне бы ваши заботы, господин учитель...» Если нечего дать — дай маленько свободы. Нечего продать — отпусти ему землю. Нечем наставить — склони человека к труду.

И напоследок сказал Стародубцев... Тут, собственно, мировая, знак поры компромиссов и уступок:

— Нет, если земля опустынена, негодная, списана — отчего не отдать? Путь и частник постарается. Пустыню — можно. А хороших колхозных земель раздавать никто, это понятно, не будет.

А откуда пустыня в Европе?

Хозяин знает, что говорит. Есть пустыня в Европе! Песчаная Калмыцкая пустыня на месте «Черных земель» растет на 5 гектаров в час и уже охватывает 1,2 миллиона га. В пашне СССР 20 миллионов га составляют больше не пригодные к обработке земли: засоленные, смытые, выдутые, заболоченные, искалеченные иным образом — есть разгуляться где на воле! И кооператору, и фермеру.

Значит, можно и сразу просить — можно и подождать, пока наработают. Кто? Ну, колхозы, совхозы... Стойте, так они у вас что, пустыню производят? Почему «у вас»? У нас, у всех общество едино...

А мой вопрос был единственным:

— А за сколько дней растащат **ваш** колхоз, если снять охрану? Начисто, а?..

Личная безопасность

Юрий ЩЕКОЧИХИН

ЖИЛ-БЫЛ ВОР... И ЖИЛИ МЫ...

НАКОНЕЦ-ТО смогу выполнить свое обещание, о котором то и дело напоминают читатели: встреча с человеком, хотя и весьма распространенной, но все-таки уникальной профессии — квартирным вором — состоялась. И сегодня я могу честно отчитаться о ней.

Вот о чем, в частности, писал я в «ЛГ» от 30 августа 1989 года квартирный вор Борис Романович П.:

«За свою одиссею мне неоднократно приходилось находиться в очень серьезных компаниях: начальников УВД, прокуроров, судей и т. д. Правда, не в своем собственном качестве. Приходилось бывать и сотрудником МВД, и артистом, и гинекологом, и даже в роли лауреата Ленинской премии за внедрение установки по охлаждению проката в потоке стана. Приезжайте ко мне! Я Вас приглашаю! Вы узнаете простой до гениальности способ сократить количество квартирных краж на 50 процентов минимум».

Я ехал в колонию особого режима, расположенную в нескольких десятках километров от Ворошиловграда, туда, где, одетые в специфическую полосатую форму (будто отдыхающие из фильмов пятидесятых годов), содержатся преступники, признанные особо опасными рецидивистами. Но думал не только о нем, квартирном воре Борисе Романовиче, чье страстное письмо вызвало такой общественный интерес, комментарии криминологов и отзвуки по бывшим «вражьим» голосам. Я думал о своих близких и совершенно незнакомых людях (ох, какая тревожная почта идет к нам в последнее время!), лишенных привычного чувства безопасности что дома, что на улице. Может быть, оттуда, из-за забора, из-за колючей проволоки, легче будет найти ответ, почему же таким неодолимым оказывается вал преступности? И с другой стороны, какой бы уникальной мы ни считали судьбу Бориса Романовича (люди жили, а он сидел!), от числа соотечественников, прошедших через тюрьмы и лагеря лишь за последние тридцать лет (!), обрывается сердце, как в детстве при мысли о бесконечности Вселенной: тридцать пять миллионов! Наверное, Бельгия, Голландия и Люксембург, вместе взятые, да еще Норвегия в придачу! Тридцать пять миллионов!

Больше, чем каждый десятый житель, считая даже детей, не достигших возраста уголовной ответственности!

Что это? Народ такой (точнее — народы)? Или государство такое? Или строй?

И эти вопросы волновали меня честно, куда больше, чем вызвавшие острую общественную реакцию утверждения Бориса Романовича, что меня, наивного простачка, просто дурачат коварные дяди из МВД, и радужные картины будущего, которое он мне уготовил незаконный арест и все прелести тюремной «пресс-хаты».

И ВОТ глухой забор, колючая проволока, суровые юноши с автоматами, напряженные овчарки, мечтающие, наверно, попасть в рай, в котором бог ласково улыбается им с вышки и решетки, решетки, решетки — тот мир, в котором квартирный вор Борис Романович пребывает 24-й год из своей 49-летней жизни. Почти половину, меняя тюремные режимы на редкие месяцы свободы.

В последний раз, как было видно из его личного дела, он даже не сумел отпраздновать годовщину вольной жизни: освободился в сентябре 1986-го, был задержан после очередной квартирной кражи в феврале 1987-го.

Перечень его последних добыч меня, честно, разочаровал: флакон духов, джинсы, магнитофон «Весна», часы и — совсем уж удивительно для такого профессионала, каким он представал из своего письма, — 20 килограммов мяса. Стоило столько ехать торопиться на встречу, тратить казенные деньги — и что же? Как будто вместо учений с использованием ракет и авианосцев попасть в глухое село на школьную «Зарницу»!

Но потом успокоился и решил, что может быть, самое удивительное и заключено в серой прозе будней: а уж двадцать килограммов мяса — это согласитесь, и не будни жизни, а сказочный праздник изобилия типа «Макдоналдса» на Пушкинской.

Сейчас, перед тем как дать сокращенную стенограмму нашей с ним беседы, попробую описать, как выглядит квартирный вор Борис Романович. Знаете, какой он? Он представительный. Он не шутил, не набивал себе цену: его в самом деле можно было принять за какое-нибудь высокое начальство и даже (избави бог от аналогий!) небрежно открывающим дверь правительственной машины. В нем — сразу, как только мы познакомились, — я обнаружил ту великодушную начальственную барственность, от которой так потянуло спокойным застойным периодом нашей истории: сауна, шофер дремлет в «Волге», в кейсе у помощника доклад на завтрашнем пленуме с проставленными «бурными и продолжительными»... Хотя, с другой стороны, откуда в Борисе Романовиче взяться дерганности? Перестройка захватила лишь семь месяцев из его жизни — все остальное время он сидит в более или менее покое, в отсутствии выборов и митингов. Да, да, подумал я, такой человек мог взять двадцать килограммов мяса! Но небрежно, походя, не замечая, что это оказалось у него в руках (как у представителей другой преступной профессии — ответственных взяточников — сами собой печатались сторублевые купюры и складывались в карманы пальто случайно забытого в пустом гостиничном люксе). Да! И даже столкнувшись с ним у двери собственной квартиры, вы, увидев добычное с боем мясо — свое мясо! — скорее бы всего смущенно предложили помочь донести его до машины.

Понятно, какой он?

И в речи его я близко не проскальзывали словечки из лексикона представителей его профессии. Нет, напротив: доброжелательное участие в собеседнике, добродушие, юмор. И я даже вздрогнул от неожиданности, когда где-то в конце нашего многочасового разговора каким-то изменившимся голосом он заканючил про «солнышко, которым не нагрелся, хлеб, которым не наелся, внучку с которой не наигрался». Но тут же заметил в его глазах чукавинку (как написали бы комсомольские поэты) и успокоился: а, разыграть меня хотите! Не выйдет, Борис Романович!

Да... Потому что к концу нашего разговора я уже твердо понимал, что свой жизненный путь он выбрал вполне сознательно, можно сказать, из идейных соображений, и к своей профессии относится именно как к профессии, а не как к побочному заработку.

ТАК, А ТЕПЕРЬ — к сути состоявшегося разговора.

— Я вырос в интеллигентной семье... Одно время мои родители жили на одной лестничной площадке с Брежневым...

— Ну уж, Борис Романович, мы лет, хотя бы в вашей личной истории Брежнев невиновен? А то чуть что — то Брежнев!

— Нет, — успокоил он меня. — Брежнев здесь ни при чем. Это так к слову. Я с ним не успел познакомиться... Это просто к вопросу о генах. Меня и приняли в институт, потому что отец в городе был человеком видным и конечно благодаря этому я стал студентом.

Первые свои кражи он совершил учась на последних курсах института. Вместе с еще двумя сыновьями — директора ресторана и майора КГБ.

Когда на нас наконец-то вышли, представляю, как это было трудно — кто бы мог подумать!) — то прокурор области, к которому нас доставили ввиду необычности нашего положения, тут же позвонил второму секретарю обкома партии.

И тот приказал: вас отпустить?

— поинтересовался я, зная, что уже не удивлюсь положительному ответу.

Борис Романович развел руками.

— Увы... Даже тогда это было не возможно. Мне дали пять лет. Отсидел год и три месяца, а потом — на «химию».

— Помог отец?

— Естественно. Но уже после первого срока исчез страх. Я перестал бояться.

— А когда же вы начинаете «брать» квартиры — тут же после выхода или даете себе несколько дней отдыха?

— Ну на что-то же надо жить! Семье помочь, то да се...

— Квартиры же надо нанять! Ведь в каждую лезть подряд — больше хлопот, не правда ли? — интересуюсь у Бориса Романовича.

— Приезжаю в город и беру справочник. Ага, вот ресторан. Звоню и начинаю: так и так, мы ваши постоянные клиенты. У вас высокий сервис. Хотим поблагодарить. Будьте добры, о ком писать благодарственное письмо? Так — одна фамилия, директор второй — шеф производства, третья — метрдотель... Потом уже по телефонной книге — домашний адрес. И дальше — дело техники.

— То есть вы надеялись, что те не станут заявлять?

— Здесь уже по-разному. Однажды взял квартиру одного подпольного миллионера, так тот мне потом такие слезные письма писал в зону: «Боря, зачем же вы так! Попросили бы вы денег — я бы и так помог...»

— Но Борис Романович, судя по вашим последним кражам, и не нанял бы вас «санитаром леса»... Джинсы, часы, духи... Несолидно как-то!

— Он отвечает: что первые кражи очень тщательно готовит, а потом, когда появляются деньги, начинается, как он сам говорит, «пьяная деградация». Заходит в квартиры уже первые попавшиеся.

— И если спрашиваю: вы нашли и видите, да господи, что же здесь брать-то? То что? Может, там всего-то и есть — что десятка на тумбочке...

— И возьму десятку, — грустно отвечает. — Я же вор!..

— То есть профессионал? — уточняю я.

— Ничего особенного. Хотелось узнать что-то такое, о чем я не подозревал раньше, но даже ответ на вопрос, который после публикации его письма в газете вызвал повышенный интерес у читателей, — «способ сократить количество квартирных краж на 50 процентов», — боюсь, нас всех разочаруют.

— Да как так! Милиция надо работать лучше!

— Ну, Борис Романович, — развел я руками.

— Тогда он, правда, сказал, что «сильно действуют на нервы» замки-ревуны, вставишь ключ — а он как заревет!

— То есть все-таки страшно?

— Да что вы... Подходишь к двери — тебя всего трясет. Еле-еле берешь себя в руки... А если еще замок заревет!

— Правда и он и я знали, что таких замков наша промышленность почти не выпускает, и достать их тяжелее даже, чем 20 килограммов мяса.

Уже возвратившись в Москву, я обнаружил у себя на столе письмо от Бориса Романовича, в котором были и следующие слова:

«Кого же ловит милиция? Как и прежде, мелочь пузатую: воришек и хулиганчиков, некоторых начинающих (по примеру маститых узаконенных рэкетиров) бандитов. Сажают их и это правильно. Необходимо сажать за насилие над людьми. Но они будут до тех пор, пока народ будет вести нищенское существование на наш рубль с дефицитом на всё и вся».

Но и в этом его, так сказать, заявлении — так же как, в принципе, и в нашем с ним разговоре — тоже не было ничего особенно сенсационного. В газетах и не то пишут — о митингах уж и не говорю.

ТАК ЧТО — зряшная досадка, бесполезное знакомство?

Но проходят дни, а я все вспоминаю и вспоминаю ту нашу с ним встречу: откуда и для газеты-то особенно взять нечего. Сколько было вопросов, когда ехал туда к нему, а вернулся — одно чувство осталось: нет, не интерес к экзотике. Жалость — и не только к судьбе человека, который, не останавливаясь, промчал свою жизнь по чужим квартирам да казенным камерам. Жалость, да еще удивление, что он страшно похож на людей, которые лучше рубу себе отсекут, чем возьмут чужое. Тех, кого я часто встречаю, тех, письма от которых ежедневно ложатся на мой стол.

Ведь не он, профессиональный квартирный вор, первым произнес, что в нашем обществе не ворует только ленивый. Сколько раз в той или иной интерпретации звучат эти слова на памяти уже не одного поколения. Рождаясь тем, что наградили свой народ от хлебного чувства собственника, отцы социализма надеялись, что с песней «все вокруг колхозное, все вокруг мое» войдет страна в светлое будущее! И вошли! И потому хищения государственного имущества стали настолько массовым явлением, что все контролирующие и репрессивные организации страны оказались всего лишь детской запрудой на потоке большой реки. Доски, бензин, телевизоры, самовары, мясо, пистолеты, колготки, цемент, удобрения, зажигалки, лес вагонами, пригнанные поля и дома... Кто рискнет потратив целый день (да еще и ночь прихватив) дать весь список того, что является предметом ежедневных преступных операций? Крупных, за которыми стоят мафиозные синдикаты, и мелких, ежедневных, в которых участвуют миллионы и миллионы? И хотя согласно УК РСФСР мера наказания за хищение государственного имущества выше, чем за кражу личного (вот она, где заложена работа государства! Прежде всего о себе самом, а уже потом — о гражданах, его населяющих!), я не могу кинуть камень в тех, кто вынужден — да, частенько вынужден! — обманывать государство. Значит, оно позволяет обмануть себя!

С детства, когда летом на каникулы приезжал к бабушке в одну из центральных областей России, осталось ощущение какой-то подпольной жизни, которая окружала меня. Целыми днями соседки о чем-то шептались, таскали друг другу какие-то свертки, обменивались чем-то встречая ночные поезда. Лишь постепенно я понял, что это был обыкновенный натуральный обмен, как в гражданскую войну, хотя уже шли шестидесятые и недалеко был обещанный коммунизм. Все дело было в том, что в районе, куда я приезжал, был маслозавод, а в соседнем — мясокомбинат. Ни масла, ни мяса не было в магазинах, и казалось, что шелковы, которые отправлялись с мясом и маслом, уходят в глубины космоса, подкармливать неведомых еще тогда пришельцев. Сейчас я понял, что меня окружали те, кого потом уже в семидесятые в разгар поразившей страну коррупции называли «несунами», посвящали гневные статьи и разоблачительные кинофильмы. Килограмм мяса, вынесенный из-под полы, мог стоить — и стоил! — человеку свободы, но чем отделывались те, кто приводил страну к голоду под «бравые песни о счастливой колхозной жизни»? Не отсюда ли то громадное пополнение лагерей — да соглашусь, виноватых по закону людей, но ставших виноватыми только потому, что государство переложило на них вину за эксперименты с социальным устройством?

Да, Борис Романович, ерничает, когда утверждает, что упросив начальство воровать поменьше, можно резко повысить благосостояние народа. Но он что, ли один такой? Не его ли голос и в буре многотысячных митингов, которые все не утихают в стране? Но даже отобрав все обкомовские дачи и поставив на прикол все черные «Волги», не расселишь все наши бараки и коммуналки и не ликвидируешь километровые хвосты на автобусных остановках.

Наивными мне кажутся все разговоры о привилегиях? Опять жажда цивилизованной жизни, а такой же, но перераспределенной. Бедных из подвалов — в бельэтаж, богатых в подвалы или к стенке. Хижины объявляют войну дворцам, но почему-то в результате ни дворцов не становится больше, ни хижин меньше. Легко бороться с видимыми привилегиями — легко! — даже при сопротивлении их носителей, посчитавших персональную машину грамотой о пожаловании дворянства! Но куда труднее разобраться в скрытых привилегиях власти, основанных прежде всего на бесконтрольном командовании политическими институтами и экономическими структурами государства.

Удивляюсь сегодня, когда именно левые сторонники командно-административных методов экономики объявляют себя главными борцами с мафией. «Если не мы, то кто? Дельцы теневой экономики?» — «Хотите превратить страну в рынок? А о народе подумали?» — «Землю на продажу? Помещиков наплодить?» Они грозят кулаком. «Не дадим в пожиратели социализм» — но думают то, часто даже не о тех единоличных островках социализма (нет, не нищенского! для себя!) даже бой с ними не о личных материальных привилегиях. О другом — о привилегии управлять.

Но вот загадка! Политические хозяева государства рыночной экономики, отбыв свой срок на посту президента или премьера, отправляются профессорами в университеты и членами совета директоров в компании. И никто не срывает их портреты и никто не вычеркивает их имена из истории. Ну, а в государствах экономики командной, вынесенной по нашему типу вождей, отправляются в тюрьму (как Хонеккер или Живков) или (как Чаушеску) ставятся к стенке. Да покажите мне хоть одного первого секретаря областного комитета партии, который бы после отставки не поспешил унести ноги из собственной вотчины! В Москву — в Москву! Медунов, Бодюл уже, наверное, Калашников подбирается. Это не чеховские три сестры! Это целые братства — вместе с женами, детьми, троюродными сестрами и чередою лавируют центр города, стремясь спрятаться в многомиллионном городе от тех миллионов, надежды которых они обманули!

Нет, западной мафии далеко до нашей! Там нечистые деньги делаются на человеческих пороках: будь то наркотики или индустрия подпольных игорных домов. Нашей же отечественной пронизана вся жизнь, так как основа ее — централизованное распределение. Не рынок движет товар по стране — человек. И иногда одной подписи на телеграмме (за мзду, естественно) хватает, чтобы целый город оставить на голодном пайке. Не случайна цифра криминологов: две трети доходов нашей мафии уходит на подкуп чиновников, создавая ту слоистую сеть коррупции, которая затягивает все больше и больше людей.

И наконец — самое для меня печальное что-что... а выбор Борисом Романовичем в первую очередь обеспеченных квартир для своей, так сказать, работы найдет немало сочувствующих. Даже если и в состоянии естественного похмелья перечитает адреса — все равно обеспеченному соседу все равно хуже, больше или

Фото: В. ВЯТКИНА

За три месяца этого года в стране совершено 595 433 преступления. Это на 86 490 преступлений больше, чем за первый квартал прошлого года. Растем...

Врад ли кто вслух скажет Борису Романовичу слова сочувствия и поддержки в его нелегкой работе. Все-таки, извините, вор. Но в том-то и дело, что и он, и его коллеги по ремеслу знают об этой поддержке! Ведь когда рэкетиры разгромившие кооператоров чувствуют себя героями на суде, то вовсе не потому, что видят поддержку зала, состоящего из родственников и знакомых. Они чувствуют дыхание страны, ту атмосферу неприязни к богатым, обеспеченным, живущим выше уровня усредненной бедности, в которой росло не одно поколение наших сограждан. И когда пожилая избирательница говорит мне, что мечтает лишь об одном — прийти в ресторан вечером и всех — ну этих зажравшихся! — перестрелять, я понимаю, отчего она такая. Она наверняка не садист и не маньяк. И допускаю, если даже представится ей возможность нажать на гашетку, вздрогнет в последний момент. Она просто ненавидит богатых. Так ее учили, так она учила... Она убеждена — и нет сильнее этой ее веры, — что в нашем обществе имеют большие доходы лишь те, кто ворует, берет взятки или спекулирует налево-направо. Ее ненависть — социальна. Она революционна. Она снова, как и когда-то, разрушительна. И потому не тем, кто живет лучше, чем я, — огонь! Кто там за частную собственность? Огонь! Кто против насильственного равенства в нищете социализма? Огонь, огонь, огонь! И именно в этом то огне куются новые коллеги Бориса Романовича. А общество, не пуганное разгулом преступности, само продолжает ковать эту преступность. И уже довольно успешно.

Я понимаю, когда подростки с мясом рвут телефонные трубки и разбивают автобусные остановки: черт его знает, чьи телефоны, чьи остановки? (Ломать, что нельзя украсть, — в этом что-то есть родное!) Но понимаете ли вы, когда они с такой же удалью громят дачные домики в Подмосковье? Да потому что и то, и другое — ничье: не считать же эти телефонные будки собственностью Моссовета, когда давно известно, что у Моссовета одна реальная собственность — милиционер у входа? Ничье! Одно абстрактно-государственное ничье — да пропади оно все пропадом! О другом — частном, собственном — забыли, выбили, заставили стыдиться самих себя и научили стыдиться своих детей.

Очнемся ли мы? Используем ли шанс войти в цивилизацию? Выберемся ли из нищеты?

Понимаю, что наверное, ничего не стоит разбить все мои доводы, и те, кто куда лучше, чем я, разбирается в путях экономического прорыва, могут это сделать. Но я задачу свою ставил перед собой совсем другую.

Я написал лишь о том, что жил-был вор.

И жили мы.

Ворошиловградская область,
МОСКВА.

КЛУБ «12 СТУЛЬЕВ»

ЧУДАКИ

Ю. ВОСКОБОЙНИКОВ (гор. КУЙБЫШЕВ)

ПРИСТРАСТНЫЕ ЗАМЕТКИ

Алесь АДАМОВИЧ

Так они нами руководили

Виктор ТУРОВ, режиссер, 1968 г.:

— А почему вы считаете, что ваше мнение в кино самое главное?

Станислав ПИЛОТОВИЧ, секретарь ЦК КПБ (пристукнув по столу кулаком):

— Потому, что мы поставлены руководить!

УЖЕ НЕМАЛО написано и сказано слов об «идеологах», нами руководивших (по крайней мере убежденных что они кем-то и чем-то руководят). Суслове, Поликарпове, Ильичеве, Демичеве, деятелях этого масштаба! Но если попадаешь в здание на Старой площади в Москве или в ЦК в Минске, поражаешься количеству одинаковых дверей с табличками, на которых фамилии почти никому не известных руководителей «среднего звена». Какая то подчеркнутая безликость в этих желтых дверях бесчисленных кабинетов. Но мы то знаем, убедились в силе рычагов, там находящихся. Такой вот инфарк мог так прижать, кого угодно, даже если тот — обладатель имени всемирно известного.

БЫЛО это — во времена еще до перестроечные, где-то в 1983 г. Позвонил мне Василь Быков или я ему. «Ну что у тебя?» — «Да вот опять Севрук. Вызвал сотрудников издательства «Молодая гвардия» на ковер, ногами топал. Из-за моего «Знака беды».

И такой был печальный Василь, уставший от всего этого — устанешь, двадцать с лишним лет продолжался пристальный интерес нашего земляка ко всему, что Быков напишет, напечатает. Я тут же набрал Москву по телефону, как бы впрок записанному. Никогда не только не разговаривал, но и не видел нашего вечного Севрука, а тут на тебе, соединился и сразу: «Вас слушают». — «Владимир Николаевич? С вами говорит такой-то».

Несколько слов, прежде чем продолжу телефонную историю. Не то чтобы злым гением Быкова, но что точно — изнуряющим долголетним бесом его Владимир Николаевич стал, когда был еще слушателем Академии общественных наук. Диссертация посвящена была творчеству Василя Быкова и, как утверждают сокурсники, очень даже большой симпатией к своему земляку проникнута. Но тут напечатал «Новый мир» быковскую повесть «Мертвым не больно», вызвавшую прямой гнев не где-нибудь, а на площади Дзержинского. Ну, а, как известно, все эти площади близко расположены одна возле другой. Автора для разгромной статьи в «Правде» нашли быстро, и он тут же пересмотрел некоторые оценки своей диссертации и выдал, что требовалось. С этого, собственно, и началось его восхождение, продвижение и одной из трех желтых одинаковых дверей.

Ну, ладно, написал так написал, дело сделано, карьера обеспечена, казалось бы, переходи к новым задачам. Но как оставить подранка — этого они себе никогда не позволяют. Если уж гнать начали, то до конца. Или в «законченные диссиденты» (Быкова в Гродно иначе уже не именовали, как «белорусский Солженицын»), или за границу вытолкать, но чтобы точка была поставлена. И всем ясно-очевидно — выходит, прав был имярек: «Этот всегда, как воли, в лес смотрел». Демичев дожал Любимова, еще раньше многих дожимал Мелентьев, неотступный опекун «Нового мира», а наши минские... Замечательно, что не сдержался наш минский идеологический пастырь Савелий Ефимович Павлов, когда например, узнал, что Адамович наними то судьбами оказался в составе белорусской делегации на Генеральную Ассамблею (каждый год брали с собой одного писателя, по очереди), не удержался, вырвалось заветное: «А пусть бы он там остался!» Остался бы и все подтвердилось бы, все его прежние сигналы и действия. А тот, кто проявил близорукость с этой неожиданной поездкой, пусть бы тоже получил свое (на нас они еще и в своих кругах интриги плели и разевывали).

Неутомим был добровольный спутник Быкова почти два полонной десятилетия, за всем успевал доглядеть, ничего, что касалось Василя, не ускользало от его внимания. В приложении к «Дружбе народов» проскользнуло упоминание о «Мертвым не больно», так из всего стотысячного тиража листы вырывали. Попытался директор белорусского издательства Михаил Федорович Дубенецкий поместить опальную повесть в четырехтомнике Быкова, тут же поплатился должностью. И какой был скандал на всю республику, когда честнейший Михаил Федорович послал телеграмму «самому Суслову», в которой Главному инквизитору сообщал, что у него работает «иезуит Севрук, травящий Быкова», слова из телеграммы. До инфаркта гнали и довели таки человека, что у них отработано сил на это настойчивости минских соратников Владимира Николаевича хватало.

Ну ладно, вернемся к телефонному разговору. Видимо, очень уж опечалил меня больной голос Василя, если я прямо выпалил невидимому Севруку с первой же фразы: «Хватит, сколько можно травить Быкова?! Вы на нем сделали карьеру, поблагодарить бы надо человека и оставить в покое».

А поскольку с того конца провода на меня напирало молчание, решил наглеть до конца: мол, не прекратится это, я публично расскажу про двадцатилетнюю историю — вашу, Владимир Николаевич, с Быковым.

Дальше почти полчаса (за мой счет) говорил он. Я узнал, какие мы неблагодарные люди, его земляки, сколько он добра сделал тому же Быкову (а уж я, там, по-видимому, и вовсе свинтус: забыл, что в той же правдинской статье меня он звалил, и теперь мне это напоминал). Вот когда он ездил в Афганистан... Тут голос далекого собеседника обрел большую уверенность, вот где дела и жизнь настоящие, а наши все эти проблемы!.. и обиженно: «Из Средней Азии туда мне присылали посылку сала, а белорусы...» Какое сало, при чем тут сало, да еще из Средней Азии? Потом, потом я уже сообразил, очевидно, воинам-афганцам посылали, как и в Отечественную войну, подарки (когда-то и мне ящик фанерный с яблоками и рукавицами дали, чтобы поддержать транзитного партизана, у которого ни денег, ни билета, — это в 1944-м, в городе Ельце). Так эти подарки, видимо, вручали в Кабуле и почетным гостям из Москвы — все просто. Но наш разговор с этого момента показался каким-то абсурдным действом, видимо, и ему: «Перед кем я оправдываюсь, я, человек из ЦК?» — чу и мне тоже: «Кому ты звонишь, ты же видишь — кому?»

— Будем считать, что мы поняли друг друга.

Он молчал, не ответил. Когда о том разговоре рассказал Андрею Кикину, сокурснику Владимира Севрука по Академии общественных наук, тот иначе посмотрел. «Нет, он не перекроет вам теперь кислород. В таких делах это мастер!»

Что мастер кабинетных игр, выяснилось скоро. Собрались мы ехать с Даниилом Граниным в ГДР, немцы издали «Блокадную книгу», пригласили. Ан нет, меня не пускают. Не пускают и все. Объяснений в СП, в соответствующей комиссии никаких. Книга в «Советском писателе» выходит из плана. Статья в «Литературной газете» — и та провисает... И так — не один год. Насею «само-сева». Для всех ты уже персона нон грата. Какой же мощный рычаг давления у него там под рукой! Гроссмейстер! Да и только. Или в самом рычаге дело, в совершенстве механизма, нажимает человек подлую кнопку — и вон какие махины поворачиваются. Хошь не хошь, а готова закружиться от сознания силы всемогущества, даже если на твои двери не опираются «нет», «нам» или «пом». А тем более когда ты уже и сам где-то «там», и вместе с тем сидишь у рычагов столь же таких умников-разумников, пересидевших, как не поверить в право свое руководить, а если надо, то и «с лестницы спустить». Но последнее выражение — из лексикона другого человека из такого же кабинета. Наш Станислав Викторович Мартинович, руководивший культурой из здания Белорусского ЦК, слова эти произносил голосом тихим, спокойным, с «Я тебя спущу с лестницы!» но тоже был мастер и кого угодно мог по служебной иерархии на сколько угодно ступенек спустить, а то и самого, так уже было под стенка-соломка.

Катится, катится хорошо отработанная действующая система, заранее готовят площадку, куда можно сплантировать. В Академию наук в большую газету... Лучше, если за время сидения в кабинете получил ученую степень, но даже и без нее, сверху хорошо видны все кресла вокруг. Случалось, что человека приглянувшегося кресла вдруг начинали приподнимать, двигать с места, он не понимает, откуда и что, вроде бы нет видимых причин. А кто-то просто зашатался некто там наверху и готовит себе новое местечко. Рычаги-то под руками у него. Но случается, что панька неосмотрительна и намеченную жертву оставляют в покое, хотя и покусанную, и пожеванную. Мы наблюдали у себя в Минске не раз подобные манипуляции, были и такие мастера этого дела, что сразу на всякий случай «сшибали» многих на административной лестнице. Ну, да это их не наши заботы. Просто к слову пришлось.

Когда мы с Быковым писали первую в своей жизни клятву — обращение к М. С. Горбачеву с вопросом: двинется ли хоть что-нибудь в среднеаппаратном звене или нам дальше жить под Севруком? — мы, конечно, не понимали, что активизируем своего недруга и в этом направлении, то есть освобождая себя от него, направляем неуемную энергию аппаратчика на кого-то другого. (Потом мне известницы прямо говорили: «это вы нам его подкинули!»)

А в общем мы с Василем оказались большими простаками с этой своей клятвой. Потом, в из первых уст услышал: не получил адресат нашего письма. Среднее звено само знает, что должен. Первый получать, а чего не должен. Это не так? Но с нашим письмом было именно так. Через какое-то время нас с Быковым пригласил к себе секретарь ЦК КПБ А. Т. Кузьмин, единственный, с кем мы нашли общий язык, и с понимающей усмешкой подал наше письмо и к нему прилагаемые документы, объяснения, обвинения в наш с Быковым адрес.

Та папка о многом нам поведала. Во-первых, что мы жаловались на то, что нас мало издают и мало ездим по заграницам. (Прилагался документ, что все — совсем наоборот.) Дальше, что Севрук В. И. не только не надоел интеллигенции за 25 лет сидения «на печати», но наоборот работать с ним — отрада и удовольствие, письма руководителей или самов «Советского писателя», СП СССР, «Литературной газеты» и т. д. и т. п.

Василь мрачно смотрел на меня: «Что говорил я тебе?» А я был в восторге: мастер есть мастер, даже если он на твоей спине выкаблучивает почести! А. Т. Кузьмин смотрел на нас, как взрослый на беспомощных юнцов, пообещал в покое он нас не оставить, но будет теперь поосторожнее.

ВОТ УШЕЛ Владимир Николаевич из ЦК, а ведь столько лет «осуществлял руководящую и направляющую» в области литературы, и как-то пусто даже. Нет, свято место пусто не бывает. Но время тех мастеров, кажется, уходит. И как тут не вспомнить другого нашего земляка, о котором все о своих чтобы не обидно было кому-либо. Великого Немого. Именно под этим именем остался в анналах истории руководящих и направляющих работников Василий Филимонович Шауро. Александр Григорьевич Дементьев, еще когда жив был старый «Новый мир», с следующей силой настойчивостью повторял редакционный стишок Твардовского: «Не слушайте Мелентьева, не трогайте Дементьева, сказали братья Губины, Аль-черт и Филимон».

А я был свидетелем, как по-чиновничьи отомстил «Филимон» Александру Твардовскому уже после смерти — за все зло, которое он же ему и причинил при жизни. Ох, как прав Лев Толстой, мы любим тех, кому добро делаем, и не любим тех, кому зло причинили.

Ну кого мог любить Василий Филимонович Шауро, кому добро он мог сделать (или больше добра, чем зла) на посту зав. Отделом культуры ЦК, на должности, для того и существующей, чтобы давить и не пущать?

Знаменит Василий Филимонович на этом посту стал загадочным, прямо-таки великим молчанием.

Давно это было. В июне 1980 г. записал я сцену, в которой собралось, казалось, все: и как они нами руководили, и как мы сами при этом выглядели. Это был знаменитый юбилей 70-летие Александра Твардовского.

Но возьму запись. «В ЦДЛ на лестнице, спускающейся к туалету, увидел я человека с забавно-хмуро наезжающим на глаза лбом, стоял он передо мной, уважительно вжавшись в стенку:

— Так вы выступите на вечере?..

— На самом вечере? Почему?

— На вечере Твардовского».

Наконец он понял, что я ничего не знаю, а, значит, возможно, и не надо, нельзя мне это сообщать. Как-то и куда-то растворился, в стену втиснулся и пропал. А когда я вернулся в вестибюль, на меня с громовым голосом налетела Валентина Щедрина, консультант по белорусской литературе.

— Тебя три дня ищут... Вдова Твардовского требует, чтобы доклад на его юбилейном вечере делал Адамович...

Можете догадаться, что я испугался: нет, не столько московской аудитории, сколько самого Александра Трифоновича. Точно он тоже будет в зале присутствовать. И что я смогу сказать, какое право имею делать такой доклад? Друзья уговорили, устыдили за трусость, объявляя, что это долг наш сказать то, о чем молчим после смерти Твардовского и на сильственной кончины его журнала. Позвонил все-таки Марии Илларионовне Твардовской, что-то мямлить начал про публикацию писем ее мужа в «Немане», но Мария Илларионовна сразу:

— Вы наверное, хотите спросить о вечере Александра Трифоновича? Да, я сказала, что доклад надо поручить вам. Должен был делать Дмитрий Сергеевич Лихачев, но он в Болгарии. Его выпускают редко, и он не мог не воспользоваться приглашением. Я предложила вас. А секретариат Союза писателей прислал бумагу, поручен доклад такому-то (назвала фамилию известного поэта).

— Так хорошо же!

— Да, но мне не нравится, что он любит выступать на любом юбилее, по любому поводу. Вы приезжайте — не доклад, так просто выступите, если, конечно, захотите.

Уехал в Минск, взялся перечитывать Твардовского, а то, что написал для выступления, предназначалось именно для писательской аудитории (конечно же, будут все писатели на вечере!). О том, что без Твардовского в литературе должно бы труднее жить, а стало легче. Не перед кем стыдиться? Каждый может скинуть с плеч часть ноши, мы и скинули воровато: нет поблизости его строгих, не прощающих глаз и его примера — как и сколько может писатель нести...

Что-то в этом роде... Позвонил в СП СССР и попросил прислать на работу телеграмму — вызов мне. Молчание. Звоню одному, другому — по служебным телефонам Союза писателей. Про вечер не знает, никто и ничего. Но как-то странно: не знают каждый как бы стремится разведать, а что известно тебе.

Что за чертовщина? Не юбилей, как бы военная акция готовится, не меньше. Неудобно было, но снова позвонил Марии Илларионовне. Только она знает все и говорит все. Сообщил, что не шлют мне вызова и вообще странное что-то происходит.

Позвонили мне из ЦК — сказала Мария Илларионовна. — Как, мол, идет подготовка к вечеру-юбилею? Я рассказала, как я хотела бы.

Там, видимо, поняли, что Союз писателей пустил это важное дело на самотек, недооценил политическое его значение (Щедриной, когда она заикнулась о воле и желании вдовы поэта, было указано: «Это не ваша компетенция! Здесь — политика!»). Вот тут-то и выступил из своей затени Шауро, сам взялся вершить большую политику. Небось, эти писатели хотели бы превратить юбилей поэта и бывшего редактора «Нового мира» в свой вечер и свой разговор о вещах, которые не обойти, когда о Твардовском речь пойдет. И надо: вечер чтобы состоялся юбилей был отмечен и ничего чтобы такого...

Так или не так размышлял Великий Немой, поди узнай, но действовал и сработал именно так, и мастерски сработал — у них не отнимешь.

Я, как и положено провинциалу в Москве, заглядывал в редакции («Дружбы народов», «Нового мира», «Советского писателя») и везде поражался, ну, полному незнанию москвичей-писателей о предстоящем юбилее Твардовского. А уж про билеты и говорить нечего. «Новый мир» получил их под самый вечер того же дня (притом, что дата юбилея смещена была на несколько дней). Мы созвонились с Баклановым и приехали в зал имени Чайковского заранее. И были вознаграждены. Сверху, с лестницы наблюдали прямо-таки кафкианскую сцену появления у прохода очень строгой и мрачной процессии писателей — Героев Труда, ведомых Шауро. Все тут были, даже Николай Грибачев (то-то жданный и желанный для юбиляра гость!), только Анатолия Софронова да еще покойного Кочетова и не хватало, чтобы отметить юбилей редактора «Нового мира». Ну, и конечно, Марков, Исаев, еще несколько человек, уже не Героев. Почему-то с папками. Это государственная комиссия вышагивала, это суд шел посмертный, не менее того — так было все строго и даже угрожающе. Почудилось, что в судейских мантиях, я проверил на Григории Яковлевиче: он согласился: похоже.

Президиум проследовал в задние комнаты. Зал тоже заполнился, но очень странной и непонятной публикой. По-моему сплошь «пятушниками»: ну, еще, может, быть, из вуза первокурсники, потому что и эти выглядели подростками. Заполнился зал наполовину или даже того меньше, балконы и вовсе пусты. Шумел веселился, ждали ребята чего-то интересненького. Может, даже и не знали что привели их «на Твардовского».

А интересное происходило в задних комнатах, за кулисами. В окружении важных «мантий» чужеродно смотрелись, выделялись Сергей Залыгин и Федор Абрамов — обычным не «под Шауро» выражением лиц, что ли. Я уже понял, что ждет Марию Илларионовну в зале, и было страшновато и больно за нее — и потому с облегчением увидел, что хоть они-то возле нее. Кажется, теперь только Василий Филимонович разглядел, что и вдова здесь и пошел не к ней, а как-бы **на нее** — это особое искусство, вот так приближаться к человеку. Пожал руку ей и тем, кто рядом. Пришлось ему и мне руку протянуть, глаза удивились: а вот этого тут не должно было быть.

И вот мы вышли на сцену «Гертруды», как их простите, именуют в народе, плотную стенку образовали в президиуме между портретом Твардовского на заднике сцены и залом. В их ряду зажато, потерянно сидела Мария Илларионовна, оглушенно смотрящая в полупустой зал. Все почти писатели легко поместились на рядочке стульев у задника сцены: С. Залыгин, Ф. Абрамов, Г. Бакланов, К. Ваншенкин и я (правда, в зале я разглядел прежних новомирцев А. Дементьева и А. Бергер. И еще Ю. Идашкина из «кочетовского» «Октября». Возможно, и еще кто-то был, но единицы).

Началось говорение, но мне кажется, Мария Илларионовна (я невольно смотрел на нее) не слышала, не реагировала ни на что: незаполненный зал, нет почти писателей там, какие-то мальчики и девочки, дожидающиеся когда же начнется что-нибудь для них интересное. Оживились, когда вышел Егор Исаев и начал свою лычную тираду, кажется, и сам не знает, как и чем закончит, и потому любопытно за ним следить, как за канатоходцем... Оживился и сам руководитель мероприятия, даже удалось увидеть улыбку Великого Немого, одобрительную. Скосил глаза и на Марию Илларионовну, хорошо ли ей.

Из писателей «негертруд» слово предоставили Ваншенкину, Алигер, Ни... Залыгину, который, я видел, даже написал выступление и все заглядывал в свои бумажки, ни Абрамову. Федор, тот реагировал, как обычно, бурно. «Говнюки все, и московские, и ленинградские, все мы говнюки, а не писатели! Нас не пустили к Твардовскому, и мы проглотили. Так и надо нам!»

Позже я записал, что говорилось под портретом Твардовского — в нашем ряду.

Бакланов: «Александр Трифонович сказал однажды: «Вот умру, и они меня заберут к себе, присвоят». Он кивнул на сидящих за столом президиума.

Залыгин: «Как то спрашивает у меня: «Вот закрыли «Новый мир», что будет с литературой? Как вы думаете?» — «Плохо будет, Александр Трифонович» — «Вы станете хуже писать?» — «Наверное, нет». — «Вот именно. И другие хорошие литераторы как писали хорошо, так и будут писать. Но не станет шлагбаума, перекрывающего путь плохой литературе. И она рванет вперед, например секретарская литература».

А над нами и за спиной у президиума (повернув голову, можно было разглядеть его вопрошающий взгляд) — Твардовский, и, казалось, плотный ряд секретарских спин поучал Поэта посмертно: «Вот был бы, как мы, был бы с нами, стал бы тоже Героем!»

Когда Поэт был побежден полностью: полупустым залом, торжествующим парадным присутствием на вечере юбиляра той литературы, с которой Твардовский вел смертельный бой и в этом бою пал, когда все завершилось и мы двинулись снова в задние комнаты, я увидел несчастное и прекрасное в своем гневе лицо Марии Илларионовны, произнесшей в сторону Великого Немого:

— Я вам этого никогда не прощу!

А Немой что, он и есть немой. Зато глаза все говорили. Видимо, вот так же смотрел Суслов, когда уверенно пообещал: это напечатано будет не раньше, чем через 200 лет. Вот так — про роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», зная точно, что и дела его (их), и слова — все будет под контролем — еще вон сколько времени.

А может, огорчим их, заговорим и о делах, и о словах не только ушедших, но и живущих, процветающих и поныне — обо всем, о чем почему-то молчим по-прежнему. Статья эта зародилась, сама возникла в протестующей памяти, когда увидел я по телевидению (а потом не раз читал в прессе) уверенно поучающие и очень «перестроечные» рассуждения человека, который столько крови перепортил писателям и режиссерам Белоруссии. Снова земляк? Да, снова. Но я не стану припоминать наши (мои и Элема Климова, работавшего тогда над фильмом «Иди и смотри») встречи с бывшим зав. отделом культуры ЦК КПБ Иваном Ивановичем Антоновичем. В том же все ряду, как и вышеизложенное, с поправками, конечно, на характер человека. Все остальное проистекало и проистекает из самой претензии государства прямо вмешиваться в искусство, чинить насилие над душой его.

Но я о другом. Урок этот человек дал мне посерьезнее прежних. Вот тогда я, кажется, и понял по-настоящему, или мы это сломаем, или просто погибнем. И не в переносном смысле, а в прямом, физическом. Очень тогда наше белорусское ЦК было озабочено, что под боком у них завелся откровенный «пацифист». Эта история длинная не раз Александру Трифоновичу Кульмину приходилось в том же ЦК встречались, хотя и редко, и такие работники, так что будем справедливы: защищать и Быкова и Адамовича но за нас снова и снова брались «не либералы», «люди особого склада». Так вот вызвали меня в ЦК, и я от Ивана Ивановича услышал наконец, что такое социалистический неабстрактный гуманизм.

Что вы все пугаете атомной войной? Откуда вы взяли, что погибнет все человечество?

На мои аргументы-возражения прозвучал ответ. Вот он.

Если даже от всего нашего народа останется в живых 10 человек, задача в том, чтобы они остались советскими людьми. Советскими. В этом я вижу цель своей работы, но и нашей, писательской, тоже.

Вот с таким размахом и замахом они руководили. Что уж тут жаловаться на сломленные творческие судьбы или жизни отдельно взятых людей. При такой-то готовности чем угодно заплатить за «классовые ценности», этими людьми проповедуемые и исповедуемые?

Вот от какой бездны мы отступили, стараемся уйти. А если оглядываемся на нее, на людей, которые вот так за нас все хотели решать и решали, поверьте, не по злой памяти, а потому, что все еще не далеко и не окончательно от нее ушли. Люди меняются, даже из того ряда. Что ж, дай Бог! Но, как написано на одном знаке минувшей войны, кажется, во Франции: «Простим, но не забудем». Хотя бы потому, что теперь Иван Иванович Антонович готовит новые когорты руководителей — уже в Москве в Академии общественных наук, все той же. Видели, какое у них теперь там здание — на вырост!

Кто-то, прочитав, скажет: «Заметьте — все белорусы!» А вам больше повезло со своими? Тогда я вас поздравляю!

ОТКРЫТАЯ ПЕРЕПИСКА

ДЛЯ КОГО ЭТИ ПРИВИЛЕГИИ?

Письмо в редакцию

Прямо скажу: меня возмущают привилегии для отдельных категорий граждан в органах внутренних дел. Суть в том, что по решению соответствующих партийных комитетов на работу в МВД СССР направляются функционеры из партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органов. При этом им засчитывается прежний стаж в стаж милицейской службы. Я же шесть лет проработал следователем в органах прокуратуры. Потом перешел на преподавательскую работу в Высшую следственную школу МВД. Но годы следственной работы в прокуратуре мне засчитывать в стаж не хотят. А таких, как я, тысячи.

И. А. ГРОМОВ,
кандидат юридических наук, доцент
САРАТОВ

●

Заместителю Министра внутренних дел СССР тов. Журкину Ю. Д.

Направляем ксерокопию поступившего в редакцию письма читателя Громова И. А. Он выражает недоумение по поводу того, что в стаж службы в органах внутренних дел ему не засчитывается работа в качестве следователя прокуратуры, тогда как для отдельных категорий граждан в аналогичных случаях предусмотрены иные правила.

Будем признательны, если Вы выскажете свое мнение.

●

Редакция «Литературной газеты»

Удальцову А. П.

Письмо тов. Громова И. А. рассмотрено.

И. А. Громову разъяснено МВД СССР при начислении процентной надбавки за выслугу лет и назначении пенсии сотрудникам органов внутренних дел, перешедшим на службу из других государственных органов и общественных организаций, руководствуется постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Учитывая, что т. Громов И. А. принят не на следственную работу, удовлетворить его просьбу о зачете ему в стаж времени работы в прокуратуре не представляется возможным.

Э. П. МАСЛЕННИКОВ,
зам. нач. Главного управления кадров и учебных заведений МВД СССР

●

Комментарий отдела морали и права «ЛГ»

На втором Съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года министр внутренних дел В. В. Бакатин, отвечая на депутатский запрос, сказал, что льготы, о которых идет речь, установлены на соответствии с действующим законодательством» и их «было бы несправедливо лишать работников, которые не по своей воле, а по решению партийного органа... пошли на работу в МВД».

Позволим себе не согласиться с Вадимом Викторовичем. Во-первых, трудно себе представить, чтобы кто-то из направляемых партнкомами в МВД работников шел «не по своей воле» на руководящие, престижные, высокооплачиваемые генеральские и полковничьи должности с весьма ощутимыми пенсионными льготами. Во-вторых, вряд ли считают это справедливым те, на кого такие льготы не распространяются и кто обычным неторопливым шагом продвигается по служебной лестнице.

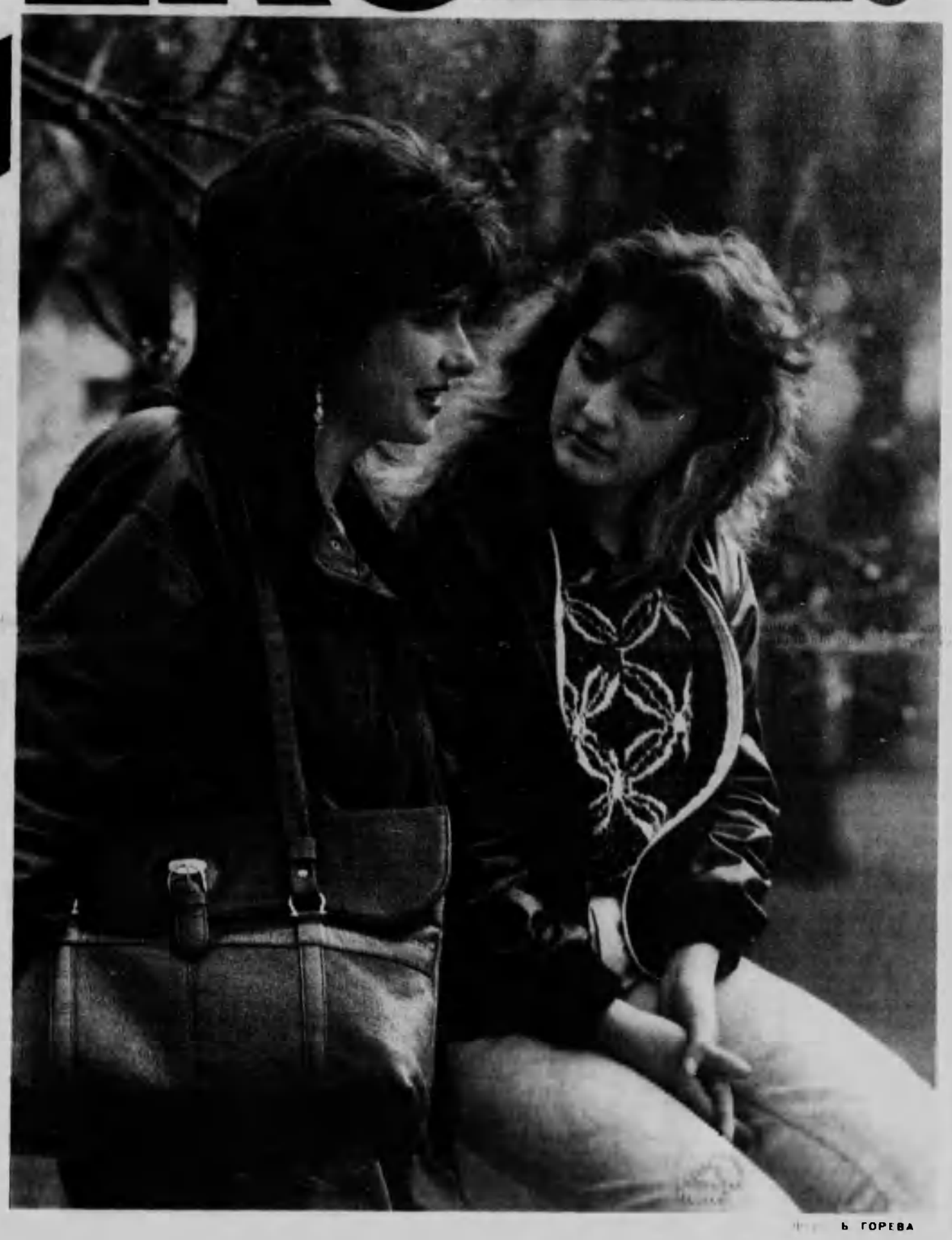
Что касается ссылки защитников привилегий на «действующее законодательство», то она необоснованна. Ни упомянутое в ответе Э. П. Масленникова совместное постановление ЦК КПСС и Совмина, ни ведомственные «закрытые» инструкции, о которых он умолчал, законами не являются. И если мы всерьез намерены строить правовое государство, то решать вопрос о чьих-либо привилегиях надо только на уровне закона.

И. КАПЛУН,
юрист, специальный корреспондент «ЛГ»

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Н. ЛОГИНОВА, обозреватель «ЛГ»

СЕКС В ШКОЛЕ?



Ф. ЬГОРЕВА

В ДРУГ ко мне подходит дама из обкома. Ведет меня в уединенное место — к окну огромного вестибюля гигантского здания Дворца чего-то, где идет всесоюзное совещание и сейчас объявили перерыв, — и говорит, что у нее для меня есть тема. После чего, сделав гневное лицо, спрашивает: «Как вы относитесь к половой распущенности?»

Я пугаюсь. Прошу уточнить, о чьей именно распущенности идет речь: детей? подростков? только женщин? мужчин? пенсионеров? членов партии? участников совещания? моей лично?

Список ее удивил. Она почему-то заведомо сняла другие слои населения и сказала: «Конечно, школьников! Я вот почему спрашиваю. Мы провели анкету в девятых классах, и 92 процента ответили, что это «нормально»!»

Выясняю, что слово «распущенность» было заложено прямо в анкету, то есть в вопросе заключалась подсказка. «Может быть, ребята назло вам так ответили? — задаю вопрос. — Кто составил такую неграмотную анкету?»

«Но вы же не будете спорить, что по сравнению с нами они начинают раньше! — говорит она. — Вот это меня и тревожит. Они же не узнают красоту чувства, а сразу окунаются в грязь!» «Кто? Кто конкретно окунается?» — недоумеваю я. «Молодежь вообще!» — точно так же недоумевает моя собеседница.

Так мы поговорили еще с полчаса на разных языках.

ЭТИ ЗАМЕТКИ — продолжение нашего мимолетного спора у подоконника. Я тогда записала аргументы моей собеседницы — идеологического лидера — близко к тексту, почти слово в слово.

«Я сперва думала, что в половой распущенности виновата рок-музыка, очернительские статьи в прессе, фильмы, где кровать во весь экран, и вот эти обросшие с гитарами по телевизору. Но поехала в колонию, разговаривала с подростками, осужденными за изнасилование, и мои догадки не подтвердились. Почти никто из шестидесяти этих ребят не читал (а я составила список вредных, на мой взгляд, книг) этих книг, газет и не видел этих фильмов. В то же время многие помнили содержание романа «Мать» и могли даже рассказать подробности из жизни Ниловны и Павла Власова. Как это сочетается? Ну не понимаю! Не понимаю! И вот я благодарна «Огоньку» — хотя за многое другое не могу его благодарить, — что он напечатал статью об этих беспутных девчонках... И вас прошу: напишите, что любовь и секс — это разные вещи, что можно пропустить самое красивое чувство в жизни, а сразу скатиться сами знаете куда. Пусть они прочитают и подумают...» — на слове «они» автор монолога кивает в сторону группы школьников, рисующих стенгазеты с шаржами на участников совещания, в перерыве возле этих листков стояли толпы взрослых, спрашивали друг друга, кто эти дивные ребята.

Я не была готова к теме и потому стала спрашивать главного идеолога области, какое досье она имеет. Сколько тысяч школьниц у нее разродились благополучно и сколько — с осложнениями, сколько тысяч предпочли избавиться от беременности и в каких условиях — криминальных или медицинских? Были токсикозы (возрастные) или девчонки давали тот же процент осложнений, что и взрослые? Создана ли группа социологов, психологов для составления «карты» проблемы? Кто работает над программой — назовем ее «школьный секс» (это словосочетание употребила моя собеседница в негативном смысле) — какие идеи заложены в программу, какие кадры привлечены, уже составили «сеть» мероприятий, акций или нет?

Ни на один вопрос я не получила ответа. Моя дама пребывала в состоянии глубокого и дремотного идеологического застоя, полагая, что сегодня на пороге третьего тысячелетия эту проблему можно решить на уровне товарищеских судов в жэковских ячейках, классных нотаций, статеек в печати и проработок родителей.

Пришлось взять другой тон. Какое право у нас с вами выговаривать хоть одной девочке за ее поведение — не известное нам в деталях? «А если она гуляет в 15 лет?» — возразила дама. «А если ее изнасиловал отчим в 14 лет, или пионервожатый, или одноклассник, или «друг семьи» или напоили и совратили подруги, или мать подала пример? — возражаю ей. — А знаете ли вы, что именно эта девочка может стать образцовой женой и матерью — без нашего с вами выговора? И, наоборот, наш выговор может нанести ей смертельную травму, вызвать отвращение к фальшивым взрослым, сбить с пути? А вы посчитали несчастных в личной жизни тихонь и скромниц? Почему забитая в поведении девочка для вас — заведомый образец? А если у нее тяжелый комплекс в общении и она всю жизнь будет страдать от него? А вы готовы поднять ее на пьедестал, чтобы вызвать насмешки сверстников? Да вы сами не боитесь вызвать дружный детский смех на лужайке, если станете пугать усатых младенцев грядущими бедами в их личной жизни, в том числе интимной?»

Я хватила лишку, наскакивая на даму, потому что в итоге она расплакалась, повторяя: «Ах вы, бесстрастные лица! Какие у всех спокойные лица! Кто же поможет им, искореженным!»

Она права по-своему. Она искренне думает, что гневный румянец и брови домиком, а также поднятый вверх указательный палец учительницы или родителя — доказательство их озабоченности. И что сама по себе эта озабоченность способна изменить интимную психологическую установку подростка. И я чувствую себя правой, считая, что этот процесс многократно сложнее и нотации противопоказаны.

В РОДДОМ привезли новое оборудование для операционных — с международной выставки удалось выпросить экспонаты, и я иду посмотреть и обсудить их с главным врачом. Дверь в его кабинет чуть открыта, и я остаюсь в коридоре, услышав его голос. Получилось, что подслушала один из самых прекрасных монологов в моей жизни: «Ты не должна сейчас ни о чем беспокоиться, кроме своего здоровья. Скандал, кругом, вихри, крик, ругань — отключайся и думай о себе и о нем». (Вижу в щель, что перед доктором сидит девочка на сносях, он указывает на ее живот: «Он — главное для тебя, поняла? Он! Там!») Девочка молча кивает головой. «Отец ребенка согласен на брак?» Девочка кивает. «Где он?» Она показывает в окно. Да-да, я только что прошла мимо парнишки лет 17, который сгорбился на скамейке. Доктор выглядывает в окно: «Ох, какой красавец! Значит, так. Вызовут в исполком, придешь ко мне за справкой. Или его пришлешь. И держитесь! Пусть его поругают, а ты береги здоровье! Никакие депутаты тебе сейчас не указ! Я тебе указ!»

Как ругаются депутаты (не нынешние, а вчерашние, обычные), я уж наслушалась за многие годы. Учительница, пенсионер, секретарь исполкома: «Шестнадцати нету, а пузо нагуляла!» — и т. д.

По улице маленького приморского городка идет женщина — инспектор по делам несовершеннолетних. Навстречу ей — подросток. «Витька! — кричит инспектор. — Если на Таньку справку не принесешь, посажу!» Подросток отмахивается от нее. Солнце печет, жарко ему. Расшифрую этот эпизод. Если Витька не принесет справку, что Танька — «половозрелая», то инспектор вправе собрать на него документы за совращение малолетней, потому что мать Таньки уже два раза приходила жаловаться. Но мальчик отмахнулся, и инспектор успокоилась: она «предупредила». Это у нее работа такая — называется «профилактика». Из рассказа этой женщины следует, что многие подростки в городке «ходят в горы» (так здесь называется это дело), поскольку ничего другого, кроме «гор», не имеется для школьников. Время от времени 13—15-летние девчонки попадают в больницу, потом возвращаются. В прошлом году двоих оформили в спецзаведение за особое пристрастие к «горам». Большинство родителей этих школьников обслуживают турбазы и пансионаты в сезон. Много одиноких матерей, разведенных. Много пьющих, беспутных. Школа плохая, директор тоже выпивает. Таков рассказ инспектора. И что на это скажешь?

А вас не смутило, что автор (то есть я) откуда-то сверху разглядывает человеческий муравейник южного городка, как бы на вертолете парит над этим скопищем грехов? И меня смутило. Последние строки уже с отвращением дописывала. С этим же чувством читаю статьи в прессе и письма в редакцию о «разложившейся» современной молодежи, а также слушаю монологи педагогов-любителей, подобные тому, с которого начаты эти заметки.

Дело в том, что рассказ инспектора сохранился в моем досье с конца 70-х годов. А недавно я с интересом навела справки про «Таньку» и «Витьку» — ну просто стандартные получились советские трудящиеся, оба семейные, с детьми. Он, правда, выпивает и женат вторым браком.

К чему я клоню? Правильно. К тому, что личная, частная жизнь, включая интимную, — абсолютно и стопроцентно индивидуальна, неповторима, и рассматривать ее ни в бинокль, ни с вертолета, ни с собственной колокольни нельзя.

Остановите доморощенного судью в разгар его обвинительной речи в адрес кого угодно: молодежи в целом, только девчонок, только школьников, студентов, лимитчиц, только мужчин и т. п., — и пусть оборотится на себя самого, кое-что вспомнит... Через минуту станет улыбаться с видом шалуна. А комсомольскому и партийному аппарату с их вечными трехдневными «семинарами» на природе, в пансионатах нечего вспомнить на эту тему? Что они везут туда в портфелях, кроме докладов? То-то. И вздохнем. И помолчим.

Недавно московская молодежка объявила, что в английском языке примерно 1500 слов и выражений про «это». В нашем — не меньше, по мнению автора статьи. Я задала этот тест ряду знакомых. На другой день все сказали, что насчитали десятка два пристойных слов и выражений и столько же сленговых. Неужели еще тысяча имеется? Пожалуй, усомнимся, чтобы не завидовать молодым.

ТАК ЕСТЬ: проблема школьного секса или она надумана теми, кто давно покинул класс и уже забыл, на каком этаже он был? Думаю, что есть — для специалистов. И нет — для нас с вами. У каждого родителя строго «своя» проблема с девочкой или мальчиком — за одной надо следить, чтобы не пошла на криминальный аборт, другую силком выпихивать на улицу, один, того гляди, подхватит дурную болезнь, у другого проблема на уровне позвонить «ей». Были годы, когда 5—6 десятиклассниц знали, что почем, остальные — чистые ангелы. Учтите только, что до десятого класса в те годы доучивалась половина от поступивших в первый. Другая половина уже работала, и никто не надзирал за ней. Сейчас, по уверениям врачей, 5—6 «чистых ангелов» заканчивают школу, остальные уже в курсе. Оценить, хорошо это или плохо, не считаю возможным. Свобода и раскованность, убыль ханжества, уверенность в своем женском будущем, несмотря на «опыт», — явления, не поддающиеся оценке по двухбалльной системе.

Читаю перевод статьи польской журналистки об одной западной школе. Школьный врач дает советы по контрацепции, снабжает индивидуальными препаратами и... хранит тайну школьника. И что совсем изумило автора — учитель не имеет права осведомить родителей, был ученик в школе или нет. Просто — был или нет. Это «личное дело» свободного юного субъекта свободной страны — такая здесь установка общественной морали. Было грустно вспомнить, что означает выражение «личное дело» у нас в Отечестве. Это папка скоросшиватель с гнусными бумажками, которая тайно идет за человеком всю жизнь. Подмена понятий с точностью до наоборот.

Эстонский академик Наан подсчитал, что общественная мораль отстает от реальной жизни на 30—40 лет. Мораль, например, устала поносить матерей-одиночек и даже дерзко заговорила о льготах для них, когда дети «пионерок» в этой области уже сами имели детей и уже скучной нормой были тре- и многоугольники, первые и вторые разводы. Помню фразу Наана о том, что лет через 30—40 наша мораль успокоится насчет групповых отношений, которые сегодня не смущают молодежь.

Как сказала бы моя собеседница из обкома: «Ах, какие бесстрастные лица...» У этих академиков, которые листают тысячи анонимных анкет и только считают, процентуют, экстраполируют. «Кто же поможет им, искореженным?» — в слезах повторила бы она, имея в виду несовершеннолетних гулен и гуляк.

Тех, кто поможет, у нас еще и в заводе нету. Ну разве среди врачей стихийно возникают отдельные интеллигентные помощники, готовые говорить с подростком по существу, без поднятых бровей и указательного пальца. Но раз подросток уже сидит перед врачом, значит, в некотором смысле помощь запоздала. Среди педагогов даже молодых и умных такого рода советчики и помощники мне не попадались. С кем ни заговоришь на эту тему — смущение и вздохи в ответ. А когда в доверительной беседе спрашиваешь подростков, кто их «просветил», очень даже нередко встречается: учитель(ница), репетитор(ша), практикант(ка), вожатый(ая). Имею в виду буквально койку, а не теорию. Самая толковая категория советчиков — конечно, психологи и психиатры (из нового поколения, читающего переводную литературу, а еще лучше — в оригинале). Подробно расскажут о невыносимом напряжении подростка, толкающем его на агрессию, если среда не дает способа снижения тонуса и разрядки. «Ах, как нужен им спорт в этом возрасте! — стонут мои собеседники. — Чтобы буквально падали к вечеру от физической нагрузки!» Нужен, да где ж его взять в таких масштабах с нашей истерической установкой на выращивание мастеров и равнодушием к неперспективной массе? Когда стыдливо-тихо скончались ГТО и БГТО, состоявшие к финалу из одних приписок, на смену им ничего не пришло. А «горы» и «кусты» всегда на месте, равно как «хаты» и «флаты» у городских школьников.

«Что вы делали в турпоходе?» — неосторожно спросила я в десятом классе на беседе с одними девочками. «Трахались по очереди», — раздался голосок с последней парты, отчего остальные повалились со смеху, но ни одна не оглянулась, потому что не была не шутка, а правда.

Треть анонимно опрошенных старшеклассниц не возражала бы стать валютными проститутками, прочла я недавно в какой-то газете. Моя перепроверка показала, что число занижено. Но из двух слов школьниц привлекает первое — «валютная», прощ говоря, по шмоткам они тоскуют, а не по мужчинам.

Вообще цифры здесь сплошь надо ревизовать. Скажем, 3 тысячи школьниц-рожениц на Украине в прошлом году — правда. Но 4306 абортов там же, по официальной статистике — неправда. По здравому смыслу судя, не может быть вторая цифра близка к первой, а должна быть многократно больше. Значит, прячутся, платят деньги идут в подполье, где их калечат. «За 50 рублей бабка вливает реванол, а потом девчонке вызывают «Скорую» и дурочка чуть не погибает у меня на столе», — устало рассказывает мне хирург.

Чего мы хотим? Выдавать желаемое за действительное, строить иллюзии, закрывать глаза на правду, а потом выть и посыпать голову пеплом, увидев ее, голую? Или все-таки бесстрастно считать и создавать программы помощи им, отнюдь не «искореженным», а живущим свою нормальную и единственную жизнь?

Но для этого хорошо бы втемяшить себе в голову, что насильно не помогают, поскольку насилие и помощь вообще несовместимы. Пока нет психологов на каждом углу, проблему делят поровну родители и педагоги. Первая категория размыта, не имеет лица и неуправляема: на одном полюсе — мать, продающая дочь своему сожителю, на другом — отцовский ремень. Вторая категория — учителя — едва лишь слезла с дерева, ну в крайнем случае находится на уровне не андертальца в смысле уважения к личной жизни ученика: все еще читают вслух детские дневники, обливают на все лады, выдают с головой родителям, исключают из школы и т. д. Педвузы, по теории Наана, все еще стесняются читать курс на эту неприличную тему. Зачитают лет через 30 — пусть с опозданием, лишь бы не обвинили в экстремизме.

Мне возразят: «Ну как же, а курс семенной жизни, а гигиена девочки разве во многих школах не читается?» Да я же не об этом, а о «том».

«Пока эти маленькие негодяйки будут сперва надевать башмаки, а потом трусы, я не отвечаю за их здоровье» — эту комично-гневную фразу из книжки польского врача я помню много лет как образец точно найденной интонации беседы с подростком. Но откройте любую книжку нашего автора — или ханжество, или пошлость. Меры не знаем, культуры нет, и получается фальшь. Сколько уроков о семье и браке я прослушала — минут десять терпишь, потом уши горят. Не от темы, а от голоса учительницы. Только и слышишь: Карл и Женни, Ленин и Крупская... Да откуда они знают, как там у Карла и Женни было дело? А зимой в девятых классах обычно стоит духота — окна закрыты, и 35—40 акселератов, сидя за тесными партами, успевают надышать за урок, хоть топор вешай. И вот в такой «атмосфере» блаженная учительница воркует о предмете, ей мало известном. Вопрос: «А у Карла с Фридрихом ничего такого не было?» — вызывает у нее слезы. Вопросик: «А правда, что Фанни Каплан стреляла в Ленина из ревности?» — и она начинает нервно смеяться, а потом требует привести мать. Между тем акселераты не издеваются над ней, а нормально реагируют на скуку.

«Вас послушать, — говорит она мне, — не должно быть никаких запретных тем! Пощадите детей!» «Или себя?» — возражаю я. Охота нам с вами впутываться в такие проблемы! Давайте про Карла и Женни, а ученики без нас — про Инессу Арманд по слухам. Мы им — про опасности ранней половой жизни для здоровья, а у них симпозиум на квартире по «проблеме клитора» (учительница показала отнятый у ученика «приглашательный билет», хорошо иллюстрированный).

Помню гнев нашей медицинской делегации на настоящем симпозиуме по акушерству, когда американские врачи показали слайды с диаграммами, из которых следовало, что 12—14-летние рожают с большим числом осложнений в сравнении с взрослыми, а 15—16-летние в норме. Это был не профессиональный, а некий «гражданский» гнев, что ли. Раз не стоит девочке доводить до этого, значит, и роды у нее пройдут неблагополучно — такая логика. На педагогическом форуме это было бы понятно, но на медицинском? Когда мы представили свои расчеты, американцы возразили, что у нас плохая техника и санитария, а роженицы ни при чем.

Разумеется, нас с вами занимает не медицинская проблема, а педагогическая. Бросаться в этот омут открытого разговора с головой или еще лет десять посидеть с поджатыми губами, строив домиком?

Количество американских педагогических изданий поражает — это тысячи и тысячи страниц ежедневно, еженедельно, ежемесячно, по всем мыслимым и немыслимым темам. Приведу пример. Детский онанизм уже рассмотрен ими со всех сторон давным-давно. Но приходят новые поколения родителей и опять спрашивают, ругать или не ругать, следить или нет. Поскольку физический вред там уже не обсуждается (как липовый), то спорят только о психическом (бояться, скрываться — вот что нарушает психику ребенка). Читаю рекомендацию педагога: «Если ваш сын начал заниматься этим за обеденным столом, скажите ему, чтобы отложил это занятие до конца обеда, а потом шел в свою комнату». Подзатыльник лучше, сказали бы мы с нашим читателем. Думаю, что немало американских родителей считают так же. Но только они полвека об этом трещат без умолку, втягивая молодежь в дискуссию, а мы в 30-е годы все решили — как отрезали. Навеки. Вместе с генетикой-кибернетикой осудили по долгую-евгенику (подумаешь, дескать, ребенок — центр вселенной, еще не хватало, чтобы родители «подбирали» друг друга с учетом потомства), заменив их лозунгом «дети — привилегированный класс» — фальшивым, как и всякий лозунг, если он продержался дольше месячника.

Недавно у нас гостила американка, победившая в конкурсе «учитель года». Ее спросили, как она реагирует, если коллега при ней проявил неуважение к ученику. Бедная женщина думала-думала и говорит: «Извините, я такого случая не помню...» У наших был шок. Неужели скотиной никто при ней ребенка не назвал?

Заканчиваю совершенно неприличным, но подлинным эпизодом из нашей родной российской практики. Значит, катится урок. Усатые ученики чего-то расшалились, мешают. Учительница — руки в боки. «Ну что, — спрашивает, — у вас уже небось в штанах шевелится?!» (Эпизод взят из письма читателя, нарочно такое не придумаешь.)

Меня вот что занимает: уже пришли в старшие классы ученики, которые не растеряются и парируют выходку? Или только завтра придут? Свободный юноша свободной страны ответил бы: «Пес мадам. А у вас?»

СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Страна «ЛЕГО»

Первая партия самой знаменитой в мире детской игры

Кто покупает вещи за границей для наших магазинов? Всегда ли каленную валюту тратят по-хозяйски? Отчего некоторые «валютные» товары так плохи и тем не менее дороги?

Эти простые вопросы не задавали даже в связи с давним, ставшим анекдотом случае. Как-то наши специалисты удачно купили элегантные мужские костюмы, потом их продавали за бешеные деньги. Костюмы, однако, не выдерживали даже одного похода в гости — разваливались. Оказалось, что костюмы и нельзя было носить: они предназначались лишь для последнего земного пути — для покойников...

Ставшая традиционной, прошедшая во второй раз международная выставка «Консумэкспо» поможет установить общественный покупательский контроль за работой тех, кто тратит казенную валюту на покупку товаров для всех. В прошлом году открытием стали изделия датской фирмы «Лего». Это, однако, было довольно запоздалое открытие. Продукция «Лего» — затейливые наборные игрушки — известна в 120 странах. Выяснилось, что дети всего мира, исключая советских, начиная с тех, кто учится ходить, и вплоть до старшеклассников, развивают свои технические, эстетические, конструкторские способности с помощью «Лего». Каждая коробка с набором 1300 соединяющихся пестрых элементов предназначена для детей определенного возраста. Целый мир «Лего»! В стране «Лего» — с ее домами, животными, фигурками людей, транспортом, лесами, озерами — ребята учатся строить, фантазировать, создавать.

На выставке «Консумэкспо-90» журнал «Огонек» наградил «Лего» дипломом и призом. Московский ГУМ заключил с датской фирмой договор на поставку игрушек. Поначалу ими будут торговать, к сожалению, только на конвертируемую валюту. Однако «Лего» получила постоянное место в витринах ГУМа. В самом заметном месте — там, где назначают свидание потерявшие друг друга посетители гигантского магазина: у фонтана. За рекламу своих игрушек «Лего» станет платить валютой, а на нее ГУМ будет получать наборы игрушек, чтобы продавать за рубли.

Конечно, эта первая партия «Лего» будет небольшой, но вскоре изделия фирмы перейдут с витрины на прилавок. Как сообщили в Министерстве торговли, вскоре будет подписан первый контракт на поставку в СССР самой знаменитой детской игры.

МИР ВОКРУГ НАС

«БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ТАКТИК» Д'АМАТО

Америка обсуждает литовский кризис

Солнечным апрельским днем сенатор-республиканец Альфонс Д'Амато в сопровождении министра иностранных дел Литвы Альгирдаса Саударгаса подошел к советской границе. Миссия сенатора состояла в том, чтобы «выразить солидарность американского народа и конгресса США со стремлением Литвы обрести независимость». Советской визы в паспорте сенатора не было. Да она ему была и не нужна. Ведь направлялся он не в СССР, а в Литву. Офицер погранвойск Витас Бучис не пропустил Альфонса Д'Амато через свой пост. Тогда сенатор и министр обменялись символическим рукопожатием через границу. «Ваша поддержка, — сказал Саударгас, — неоценима для укрепления нашего духа». «Чем скорее Соединенные Штаты пробудятся от спячки, — заметил Д'Амато, — и поймут, что же действительно происходит в СССР, тем лучше».

Комментируя этот эпизод, «Нью-Йорк таймс» пишет, что «присутствие на советской границе американского сенатора, действовавшего почти как агент-провокатор, не могло не вызвать надежд и претензий литовских лидеров на то, что они пользуются значительной американской поддержкой в своей политике «все или ничего». Газета считает, что такой «безответственный тактик», как Д'Амато, не только подстрекает литовцев, но и старается при этом отвлечь внимание прессы от разбирательства в сенате его собственных финансовых прегрешений комитетом по этике.

Итак, почему американская газета сочла возможным избрать для характеристики американского сенатора столь резкую формулу — агент-провокатор?

Почему большинство, значительное большинство рядовых американцев считают, что если выбирать между укреплением дружеских отношений с СССР и поддержкой стремления Литвы к независимости, то предпочтение надо отдать укреплению отношений? Сразу же надо сказать, что ни политики, ни общественность США не только никогда не ставили под сомнение право Литвы и других советских прибалтийских республик на независимость, но и десятилетиями этой независимости добивались. Эта позиция не изменилась и сейчас.

В каждом своем выступлении президент Буш говорит о праве Литвы на независимость. Вопрос в том, когда и как, на каких условиях, при каких обстоятельствах это может произойти. Но это тот самый пункт, где сценарий американский разошелся со сценарием литовских лидеров. В своем недавнем выступлении перед лидерами конгресса Дж. Буш отверг требование Вильнюса оказать давление на Москву. Решение, судя по всему, давшееся президенту не просто. Правые республиканцы обвиняют его в «потворстве русским», в «забвении принципов свободы». В ответ на заявление президента сенатский комитет по ассигнованиям выделил 10 миллионов долларов на «приобретение здания и содержание штата» будущего американского посольства в Литве.

С самого начала литовского кризиса вопрос о том, кого из его участников и в какой мере поддержать, не переставал дебатироваться в администрации. Посетившим недавно Москву американским сенаторам, пишет «Уолл-стрит джорнэл», запомнилось — Михаил Горбачев несколько раз сказал, что литовские лидеры «поставили всех в глупое положение». «Это возмущение, — читаю я дальше, — разделяется и Белым домом, и государственным департаментом, где широко распространена уверенность в том, что Москва предоставит Литве независимость и что теперешней конфронтации можно было бы избежать, если бы лидеры Литвы действовали более разумно».

Ну, а публично Москве делалось все больше и больше предупреждений. Еще утром того дня, когда президент должен был выступить на встрече с лидерами конгресса, советники Дж. Буша неофициально перечисляли набор санкций, уготованных русским за их давление на Литву. О возможности таких санкций говорил и госсекретарь Дж. Бейкер. Однако с удивившей даже его окружение определенностью Дж. Буш сказал законодателям, что он против того, чтобы мешать развитию прогрессивных тенденций в СССР, против того, чтобы «стрелки часов вернулись к временам «холодной войны» и конфронтации».

Витаутас Ландсбергис не заставил ждать своей реакции на это заявление. Соединенные Штаты, уверен он, «продали Литву», сегодняшнее положение, по его мнению, можно назвать «политическим Мюнхеном». Сравнение, согласитесь, более чем остро — в 1938 году Британия и Франция, желая умиротворить Гитлера, согласились на его план раздела Чехословакии.

Вот как ответил на это обвинение Дж. Буш: «Политика и решения, которые я провожу, пользуются большой поддержкой американского народа, а именно в его интересах я и работаю». Сказал, как зафиксировала пресса, с нехарактерной для него суровостью. Позиция эта нашла поддержку президента Франции Ф. Миттерана и канцлера ФРГ Г. Коля. Впервые в дипломатической практике два этих лидера направили совместное письмо В. Ландсбергису. Решение трудной литовской проблемы, говорится в нем, «требует времени и терпения и должно быть найдено посредством классических каналов диалога». Литву призывают «приостановить все направленные на обретение независимости акции, принятые литовским парламентом». Какие-либо сравнения нынешних событий с Мюнхеном президент Франции и канцлер ФРГ отвергли.

Есть комплекс причин, благодаря которым Соединенные Штаты выбрали нынешнюю линию политического поведения в связи с Литвой. Главная из них, конечно, — интересы самой Америки. Она не хочет жертвовать перспективами радикального улучшения отношений с СССР ради урегулирования литовского кризиса на тех условиях, каких добиваются литовские лидеры. Дж. Буш и его окружение относятся к этому кризису не как к явлению изолированному, они ставят его в контекст других происходящих в СССР событий. Сопрягают его с судьбой перестройки, в успехе которой американское руководство заинтересовано. Потому прежде всего, что дестабилизированный, раздираемый противоречиями Советский Союз никак не годился бы на роль партнера, с которым можно делать и политику, и бизнес.

Идет ли Литва к тому, чтобы стать одним из первых звеньев такой дестабилизации? Да, считают здесь, логика событий привела ее именно на этот путь. «Администрация убеждена, — передает слова одного из ее высших представителей «Нью-Йорк таймс», — что Литва больше, чем Москва, ответственна за провоцирование кризиса. Администрация также считает, что развитие отношений между Востоком и Западом для нас несравненно более важно, чем немедленный ответ на литовские требования».

Речь, как видим, идет о трезвом расчете американцев. Ну, а звучат ли мнения о том, что Москву следует поддержать не потому только, что это выгодно Америке — ведь выгодными могут быть и чужие ошибки, — а и из-за того, что СССР проводит действительно взвешенную, разумную политику? И над этим в США размышляют. Именно «горбачевская революция», считают здесь, стала импульсом лавины демократических перемен в Восточной Европе. Перемен, которые Советский Союз принял, которым не противопоставил нечто вроде новой «доктрины Брежнева». И наконец, именно «горбачевская революция» создала условия, когда прибалтийские республики смогли приступить к формированию своей независимой государственности.

Читательское письмо в одной из здешних газет.

«Горбачев считает, что литовцы вправе обсуждать с ним отделение от Советского Союза, что означает — он лишь просит дать ему время, а течение которого можно было бы договориться о деталях соглашения, — пишет Джуди Ваннициц из Морристауна. — Американские консерваторы недовольны Дж. Бушем, они предпочли бы, чтобы тот подстрекал литовских лидеров на открытую конфронтацию с Москвой. Они игнорируют те огромные надежды, которые западные демократии связывают с М. Горбачевым. Нам следовало бы желать, чтобы он получил передышку для осуществления своих экономических и политических реформ. И будет совсем не странно, если через три года советская экономика и демократические институты получат такое развитие, что в плебисците Литва сделает выбор в пользу того, чтобы остаться частью этого нового мира».

Эдгар ЧЕПОРОВ,
соб. корр. АПН и «ЛГ».

НЬЮ-ЙОРК

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПАСУТ ЗЕМЛЮ?

В начале века от науки ждали чуда — изобилия, процветания, полетов в космос. К концу столетия впору больше уповать на чудо, которое могло бы спасти нас от расплаты за научный прогресс. Оградить от повторения хиросим и чернобылей, уберечь еще не отравленные реки и не убитые пашни, залатать озонную дыру над Антарктидой. Но чудес не бывает. Землю должны сохранить для людей сами люди. Так можно сформулировать главный вывод состоявшейся в японском городе Сендае международной конференции «Тенденции в науке и технологии: последствия для международного мира и безопасности», организованной ООН. Об итогах форума рассказывает принимавший в нем участие заместитель министра иностранных дел СССР Владимир ПЕТРОВСКИЙ:

— Представители правительств, парламентов и ученых из 60 стран оказались единодушны в том, что выживание цивилизации зависит от решения одной из центральных дилемм века: наука ради созидания или разрушения. Надо сказать, что еще два года назад широкую поддержку в ООН получило предложение Индии о создании при генеральном секретаре ООН группы по оценкам и прогнозам в области военного применения новых технологий. Кстати, в Советском Союзе уже есть такая национальная группа ученых.

Не вызывает споров необходимость использовать самые современные технологии для контроля за разоружением. Растущее понимание встречает и идея демонтажа завалов времен «холодной войны» в области обмена технологиями. Действительно, пора бы уже освободиться от синдромов параноидальной сверхподозрительности, которые сформировались в уходящем прошлом. Мы предложили провести консультации заинтересованных сторон, уже в ближайшее время обсудить вставшие здесь вопросы применительно к так называемым товарам двойного назначения.

Много говорилось на конференции о применении новейшей технологии для спасения природы. Привлекла к себе внимание идея создания международного регистра наиболее опасных в экологическом отношении производств. Предполагается, что каждая страна назовет внушающие тревогу предприятия, международная экспертиза оценит их реальную угрозу и предложит, как с помощью новейших технологий сделать их безопасными.

Кстати, об экологии шла речь и в ходе наших встреч в МИДе Японии. В развитие советской инициативы открыть Сахалин и Курильские острова для налаживания всестороннего экологического сотрудничества с Японией мы передали свои предложения по превращению этого района в испытательный полигон совместных усилий по охране природы. Это целая программа — от совместных научных экспедиций до строительства на Сахалине научной экологической лаборатории для советских и японских исследователей.

ЛАФОНТЕН ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ

ФОТОФАКТ

В минувший четверг в районе Кельна (Мюльхайм) было совершено покушение на премьер-министра земли Саар, заместителя председателя СДПГ, кандидата от этой партии в канцлеры ФРГ Оскара Лафонтена. Покушавшаяся — сорокадвухлетняя Адельхайд Штрайдль на предвыборном митинге нанесла О. Лафонтену удар ножом в шею. Судя по сообщениям врачей, состояние здоровья О. Лафонтена не вызывает тревоги. Он не намерен отказываться от дальнейшей предвыборной борьбы.

На снимках: О. Лафонтен за несколько минут до покушения; место преступления; А. Штрайдль в руках полиции.

Телефото: Рейтер — ТАСС

39 МЕСЯЦЕВ В ЗАТОЧЕНИИ

И вот заложник на свободе

— Прежде всего я хочу извиниться перед вами, господа, что заставил вас столь долго ждать себя.

С этими словами бледный худой мужчина в очках с заостренными чертами лица обратился к десяткам корреспондентов, съехавшихся на встречу с ним в здание МИД Сирии из нескольких стран Ближнего Востока. Голос этого человека был слаб, но чувства юмора он, кажется, не утратил. Его действительно ждали долго — 39 месяцев.

Американского преподавателя Роберта Полхилла только что доставили в Дамаск из Бейрута, где он был освобожден группировкой «Аль-Джихад аль-Исламийя ли тахрар фаластин» («Исламская священная война за освобождение Палестины»), которая в январе 1987 года похитила его вместе с двумя американскими коллегами. 55-летний Полхилл преподавал в колледже при Бейрутском университете. Его имя значилось в списке 17 западных заложников, удерживаемых в Ливане. Теперь для него это в прошлом.

— Главная задача заключается в том, чтобы не сойти с ума от бездеятельности,— рассказывает обретший свободу узник.— Это суровое испытание. Самое трудное было на чем-то сосредоточить мысль и сохранить ясность ума. Как ни странно, мы мало говорили друг с другом и совсем не касались будущего. Мы не могли знать, освободят нас когда-нибудь или нет. Наши похитители запрещали нам громко разговаривать и держали нас большей частью в полумраке. Но они разрешали играть в карты. Несколько выданных книг было, наверное, единственным, что напоминало нам о существовании внешнего мира, свободы. Я постоянно старался сохранять в себе злобу на похитителей за то, что они лишили меня свободы, родных, друзей, моих студентов. Хотя в целом должен признать, что с нами обращались неплохо. Но злобу я не хотел терять, это помогало мне не превратиться в размякший овощ.

— Я на свободе,— говорит бывший заложник. И чувствуется, что сам он с трудом верит этим словам, которые за последние три с лишним года стали его смыслом существования.— Каков счастье снова возвратиться к жизни! Я глубоко благодарен всем, кто внес в это лепту, особенно президенту Сирии Хафезу Асаду и правительству США. Мою радость омрачает лишь сознание того, что мои товарищи пока остаются в неволе. Я думаю, они даже не знают о том, что со мною произошло. А ведь это им придало бы сил и веры в освобождение.

— Что бы вы хотели сейчас сказать всему миру?

— За три года заточения я совершенно перестал быть в курсе событий в мире. Поэтому мне сложно воспользоваться такой возможностью. Единственное, что я хотел бы сказать, не забывайте о тех, кто в неволе! О заключенных в тюрьмах Израиля. Их надо всех освободить!

Призыв американца-заложника был подхвачен буквально на следующий день и политиками. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Иран и его союзники в Ливане ожидают теперь предоставления свободы четырем французам, похищенным в Ливане, и одному из духовных лидеров — шейху Обейду, захваченному израильтянами 9 месяцев назад. Освобождение последнего, как было указано в распространенном в Бейруте заявлении, — ключ к освобождению всех удерживаемых в Ливане западных заложников, включая 7 американских. Глава МИДа Сирии Фарук аш-Шараа выразил надежду, что избавление Полхилла станет первым шагом к свободе и для других заложников. Лидер ливийской революции Муаммар Каддафи обратился к мусульманам мира с призывом проявить великодушие и освободить всех заложников, и в первую очередь представителей Международного комитета Красного Креста. О намерении последовать примеру «Аль-Джихад аль-Исламийя» объявил в Ливане ряд мусульманских и палестинских организаций.

В заключение пресс-конференции кто-то спросил Роберта о его планах на будущее.

— Пока никаких, кроме желания поскорее увидеть жену, мать, детей, встретиться с друзьями,— сказал растерянно Полхилл.— Все вместе обсудим планы на будущее. А сейчас я просто устал. Я очень устал,— произнес он слабым голосом.

Сергей МЕДВЕДКО,
соб. корр. «ЛГ».

ДАМАСК

ВИНОВЕН, НЕВИНОВЕН...

Размышления над материалами следствия по делу Эриха Хонеккера

Его взяли под стражу в коридоре столичной правительственной больницы «Шарите» две недели спустя после операции по поводу злокачественной опухоли. Арестовали, даже не дав возможности заехать домой, собрать вещи, проститься с родными. Было семь часов утра. Лишь жена Маргот оказалась в этот ранний час рядом с ним. Их прощальный поцелуй на фоне равнодушных сотрудников спецслужб показался мне сценой из сюрреалистической драмы.

Спрашивал у своих немецких знакомых, приятелей, которые посвящены в таинства внутренней политики ГДР, да и сами играют в ней не последнюю скрипку: был ли арест первого гражданина страны (удостоверение личности Э. Хонеккера имеет номер 1) именно так и задуман или «театр абсурда» получился случайно из-за того, что не было должной режиссуры, а предоставленные самим себе «актеры» переусердствовали? Но вразумительного ответа на этот вопрос так и не получил. Генеральная прокуратура объясняет поспешность действий желанием предотвратить возможный побег, контакты с нежелательными лицами. В это трудно поверить, потому что ни физическое состояние бывшего руководителя партии и государства, ни его духовные силы явно не соответствовали приписываемым ему замыслам. Более правдоподобным кажется стремление поскорее изолировать Э. Хонеккера от населения — немало людей не прочь бы высказать ему свои чувства, не выбирая выражений.

Впрочем, как бы то ни было, спустя 36 часов высокопоставленный арестант оказался на свободе. Адвокаты сумели доказать, что их тяжело больной подзащитный не может находиться под стражей, что это противоречит нормам правового государства. Но абсурдность происходящего этим не исчерпывалась. Оказалось, что Э. Хонеккеру просто не куда ехать — из правительственного особняка в Вандлице его выселили, а о новом, более подходящем жилье никто не побеспокоился. В конце концов очутившуюся у разбитого корыта семейную чету приютил у себя в доме священник из берлинского пригорода Лоберталя Уве Хольмер.

Давно известно: от великого до смешного один шаг. Портреты Э. Хонеккера, огромное количество которых несли на всех праздничных манифестациях, можно увидеть здесь и сегодня. Они плывут над рядами демонстрантов с тем же, что и прежде, вдохновенным взором, но в арестантской робе. Для смены декораций потребовалась всего лишь пара тюбиков краски да ловкость рук. В одночасье исчезли из кабинетов и библиотек собрания сочинений, заготовленные впрок бюсты прямо из мастерских перекочевали на «баррикады».

Как это все знакомо! Словно нарядным ученикам. История преподает из поколения в поколение один и тот же урок. И все понапрасну! Видно, есть какой-то не открытый еще наукой политический вирус, лишающий пришедших к власти людей морального иммунитета к «звездной болезни», сребролюбию и духовной глухоте. Э. Хонеккер не стал исключением — поднимаясь по ступенькам служебной карьеры все выше и выше, он оказался в итоге на дне общества в камере предварительного заключения, пополнив печальную галерею политических лидеров, обреченных на злословие и насмешки.

Самым серьезным в предполагаемом длинном ряду обвинений, которые могут быть выдвинуты против Э. Хонеккера на судебном процессе, является государственная измена. В начале года генеральная прокуратура ГДР официально объявила о том, что предварительное следствие работает в этом направлении. И даже поспешила заверить, что дело уже «в шляпе», что суд мог бы состояться еще накануне парламентских выборов.

Подобный поворот событий явился полной неожиданностью не только для адвокатов, защищающих поверженного политического лидера по профессиональному долгу, но даже для общественности, не питающей больше к нему ни малейшего пиетета. Как-то не сливаются в сознании воедино догматические, наполненные самовосхвалением речи Э. Хонеккера, его бесконечные указания о том, как надо улучшать «социализм в цветах ГДР», с хитроумной подрывной деятельностью.

96-ю статью Уголовного кодекса ГДР, где дается юридическое толкование государственной измены, эксперты вертели и так, и эдак, пытаясь обнаружить в ней некий скрытый смысл, позволивший генеральной прокуратуре с таким оптимизмом утверждать, что «преступник» уличен.

«Насильственное свержение социалистического государственного и общественного строя»? Нет, даже при большой фантазии приписывать Э. Хонеккеру покушение на социалистический строй было бы легкомысленно. Отождествляя с социализмом административно-командную систему, он делал все возможное для того, чтобы сохранить ее в целости и сохранности. Таким же беспочвенным было бы и утверждение, что Э. Хонеккер осуществил «захват власти преступным образом». Конечно, смена Вальтера Ульбрихта на посту первого секретаря ЦК СЕПГ была разыграна по всем правилам «дворцовых переворотов». Но юридически тут и комар носа не подточит. Не гремели, как в Чили, пушки. Не было стадионов, огороженных колючей проволокой. И восхождение на «престол» происходило не под слезы, а под бурные овации трудящихся, имевших возможность еще раз убедиться в «торжестве социалистической демократии».

Отпадает и обвинение в «содействии аннексии территории ГДР другим государством» — не было такого. Наоборот, Э. Хонеккер немало сделал для международного признания социалистического немецкого государства, для роста его авторитета.

Единственным пунктом, за который могло бы ухватиться обвинение, является «узурпация личной власти в обход конституционных органов или создание таких ее структур, которые существуют вне закона и правил». Но и здесь все очень зыбко. На подобном фундаменте в подлинно демократическом суде приговор не построишь.

Поэтому, что действие Э. Хонеккера на «государственную измену» не тянут, в начале апреля генеральная прокуратура ГДР официально заявила, что следствие в этом направлении прекращено. Но остаются в силе тяжелые обвинения в злоупотреблении властью, коррупции и личном обогащении. Они подтверждены обстоятельным расследованием, которое в течение трех месяцев проводил специальный парламентский комитет.

«Нам нет необходимости скрывать что-то от масс, обманывать их»,— проникновенно писал Э. Хонеккер в автобиографической книге «Из моей жизни» (она, кстати, переведена на русский язык). Факты свидетельствуют, увы, об обратном — и скрывали, и обманывали, и манипулировали мнением. «Бывшее партийное и государственное руководство ГДР построило систему своего неограниченного господства, используя конституционную статью, закреплявшую «руководящую роль СЕПГ». Политбюро этой партии принимало все решения в своем узком кругу...» — говорится в парламентском заключении. Вред ли нужно подробно рассказывать о том, как это делалось,— административно-командная система везде функционирует по одним и тем же законам. Остановлюсь лишь на одном из эпизодов, в котором ярко отразился моральный облик людей, считавших себя «плотью от плоти рабочего класса» (эти слова я тоже взял из книги Э. Хонеккера).

В тридцати минутах езды от Берлина расположился небольшой поселок Вандлиц, прозванный в народе «вольвоградом». Здесь с 1957 года в шикарных условиях жили семьи членов Политбюро ЦК СЕПГ. Все особняки были обставлены за счет государства дорогой мебелью, начинены западной домашней техникой. Обслуживала их специальная прислуга. Полки спецмагазинов ломились от промышленных и продовольственных товаров, которые никогда не поступали в открытую продажу. В теплицах без применения химикатов выращивались разнообразные овощи. По уровню бытового обслуживания обитателям «вольвограда» могли бы позавидовать, пожалуй, и персидские цари.

Э. Хонеккер, В. Штоф, Г. Миттаг, Х. Ансей, другие руководители имели огромные личные охотничьи угодья с комплексом жилых и вспомогательных построек, также обслуживавшихся специальной прислугой. По их примеру такие же закрытые охотничьи зоны, куда «посторонним» заходить категорически запрещалось, поотводили себе руководители округов и районов.

Шикарные автомобили престижных западных марок, правительственный поезд... Существовала даже специальная авиаэскадрилья, обслуживавшая семьи высокопоставленных партийных и государственных чиновников,— ежедневно кто-нибудь из них взмывал в воздух на правительственных «новрах-самолетах», ломая расписание полетов гражданской авиации.

Роль своеобразной «няньки», чутко реагировавшей на капризы «элиты», выполняло Министерство государственной безопасности ГДР. У него была разветвленная сеть предприятий, которые обеспечивали финансирование и исполнение заданий «особой важности». Сборники документов этой расформированной нынче организации, изданный недавно массовым тиражом, приоткрывает лишь верхний пласт грубых нарушений социалистической законности. Предстоит выяснить, например, масштабы махинаций по тайной продаже оружия, осуществлявшейся фирмой Александра Шальк-Голодковского, успевшего сбежать на Запад.

Э. Хонеккер утверждает, что к подобным «темным делам» никакого отношение не имел. «Я бедный человек», — заявил он во время допроса, проведенного представителями Генеральной прокуратуры. Чуть позже, читая протокол, эти слова он собственноручно зачеркнет. Но дело вовсе не в том, что на личных счетах четы Хонеккер в берлинском банке значатся суммы в 211 964,51 марки и 77 502,98 марки ГДР — в условиях страны этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить безбедную старость. Недавно обнаружен еще один тайный лицевой счет, распоряжаться которым, по утверждению прессы, мог лишь Э. Хонеккер. А на нем ни много ни мало — 75 миллионов марок ФРГ.

Как считает западногерманский журнал «Шпигель», раскопавший эту сенсацию (впоследствии ее подтвердила Генеральная прокуратура ГДР), последняя сумма получена за счет продажи политических заключенных. Министерство по внутригерманским отношениям ФРГ регулярно представляло Э. Хонеккеру списки томящихся в застенках людей и членов их семей и выкупало их. За четверть века (первая операция такого рода осуществлена в 1964 году) в общей сложности на Запад было продано около четверти миллиона «живых душ» — 33 755 политзаключенных и 215 019 их ближайших родственников. Помимо наличных, которые ложились в банк, оговаривалась поставка экзотических фруктов и других деликатесов, которые прежде всего поступали в Вандлиц, а то, что оставалось с «барского стола»,— в свободную продажу. Использовал ли Э. Хонеккер эти деньги на личные нужды или берег их на «черный день», пока не ясно. Однако если даже они предназначались не латание дыр в госбюджете, вряд ли оправдывает это промысел, не уступающий по своей сути чичиковскому.

Только суд, время проведения которого пока не определено, вправе установить, является ли Э. Хонеккер государственным преступником, и если да — масштабы и тяжесть совершенных им деяний. Сам он не считает себе виновным. Напротив, убежден, что прожил свою жизнь с народом и для народа, что именно благодаря его решительности удалось предотвратить событие, которые могли привести к непоправимым трагедиям. Во время короткой встречи с одним из лидеров партии «Демократический прорыв» священником Райнером Эппельманом, навестившим его в Лобертале, Э. Хонеккер сказал, что признает лишь свою политическую вину за кризис, в котором оказались государство и общество.

СЕПГ, членом которой он являлся в течение 60 лет, свой приговор уже вынесла — исключила бывшего Генерального секретаря из рядов партии. По иронии судьбы это известие передал Э. Хонеккеру Э. Кренц, которого спустя несколько дней постигла та же участь.

Промедление с началом судебного процесса вызвано не только следственными сложностями, но и состоянием здоровья Э. Хонеккера, которому идет уже 78-й год. Высказываются опасения, что он не сможет давать показания.

Трагедию этого человека можно понять. Каким бы ни был приговор, не сомневаюсь, он окажется мягче того, что вынесла ему жизнь, осудившая Э. Хонеккера и его жену доживать свои последние дни не только в полном одиночестве, но и с проклятьем соотечественников.

Игорь ОСИНСКИЙ,
соб. корр. ТАСС — для «ЛГ».

БЕРЛИН

БЕСТСЕЛЛЕР

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

МИЗЕРИ, ИЛИ НЕСЧАСТЬЕ

Иллюстрация Александра ЯЦКЕВИЧА

В НАЧАЛЕ Пол подумал, что это сон. Но то была явь. Пол застонал, дух его был сломлен. Ясно виделись лишь темно-синее платье Энни и ее шляпка, украшенная веточками.

В руках она держала стакан с водой. Большой стакан.

— Выпейте, — сказала она, холодной рукой приподняв ему голову, чтобы Пол мог пить не захлебываясь. Пол сделал три больших глотка, распухший язык увлажнился; несколько капелек по подбородку скатились на майку. Тут Энни отобрала стакан.

Пол протянул к ней дрожащие руки, умоляя дать еще.

— Нет, — резко ответила она. — Нельзя. Пить надо понемножку, иначе вам станет плохо.

— Дайте лекарство! — попросил он и закашлялся. — Где таблетки? Мне больно... Прошу, Энни, помогите мне, ради Бога, я больше не могу терпеть...

— Знаю, но сперва выслушайте меня, — по-матерински строго сказала она. — Я вынуждена была уехать, поразмыслить. По-моему, все обдумала. Вначале я не была уверена, у меня мысли часто путаются. Но я прекрасно знаю, что со мной так иногда случается. Ведь я не всегда помню, где бываю, и не всегда могу ответить на вопросы, которые мне задают. Но я молилась. Вы же знаете, что Бог есть и всегда внемлет молитвам. Я спросила Бога: «Скажи, Господи, когда я вернусь, Пол Шелдон уже умрет?» И Бог ответил: «Он будет жить. Я сохранил его, чтобы вы наставили его на путь праведный».

Пол ничего не слышал: он не отрывал глаз от стакана. Энни позволила снова выпить. Пол глотал воду, как лошадь, давился. А Энни снисходительно взирала на него.

— Я дам вам болеутоляющее, — пообещала она. — Но перед этим вам надо поработать. Сейчас приду.

Она встала и направилась к двери.

— Останьтесь! — крикнул Пол.

Она его не слышала.

* * *

Пол испугался: что бредит. Слишком невероятна была представшая перед глазами картина: Энни вошла в комнату, волоча жаровню с углями.

— Энни, мочи нет терпеть! — по щекам Пола текли слезы.

— Знаю, милый, — Энни поцеловала Пола в щеку, и он ощутил нежное, как перышко, прикосновение губ. — Потерпи чуть-чуть.

И снова ушла. Он, не отрываясь, смотрел на жаровню, которая почему-то очутилась у него в комнате, вызывая в памяти образы языческих идолов и жертвоприношений.

Действительно, предстоял ритуал жертвоприношения: когда Энни вернулась, в одной руке она несла рукопись романа «Скоростные машины», плод его двухлетнего труда, в другой сжимала коробок спичек.

* * *

— Нет! — закричал он, дрожа от бессилия. Мозг, словно ожог, пронзила мысль: ведь долларов за сто он же мог заказать ксерокопию. Литературный агент Брюс, обе бывшие жены, даже мать — все они считали Пола безумцем и требовали, чтобы он сделал хотя бы еще один экземпляр романа и спрятал. В конце концов в отеле «Боулдерадо», где он любил работать, или в его нью-йоркской квартире мог случиться пожар, никто не был застрахован от наводнения, урагана или другого стихийного бедствия. А он, не приводя никаких разумных доводов, упорствовал в отказе. Полу всегда казалось, что возня с копированием рукописей — пустая трата времени и сил.

Какой он был идиот! Вот и разразилось это стихийное бедствие в человеческом воплощении: налетел тайфун по имени Энни. Если бы он послушался тех советов и вложил паршивую сотню долларов...

— Да! — заявила она, подавая Полу спички. Рукопись, напечатанная на шикарной бумаге «Хэммермилл Бонд», лежала у Пола на коленях титульным листом вверх.

— Нет! — повторил Пол, отвернувшись от Энни. Лицо его пылало.

— Нет, да! Это грязная книга. И очень дурная.

— А вы разве способны отличить хорошее от дурного? — заорал он.

Энни тихо рассмеялась.

— Во-первых, — заявила она, — добро всегда легко отличить от зла. Потому что только зло стремится выдать себя за добро. Во-вторых, мне точно известно, где добро, а где зло. Вы, Пол, наоример, человек добрый, пользуетесь нуждающимся в помощи. Возьмите спички!

Пол решительно замотал головой.

— Нет! Нет!

— Берите!

— Нет, черт вас побери!

— Чертыхайтесь сколько угодно. Бранью меня не удивишь.

— Я не сделаю этого, — зажмурил глаза Пол.

А раскрыв их снова, увидел, что Энни держит перед ним картонную упаковку с ярко-синей по белому надписью «НОВРИЛ». Под ней красным значилось: «ОПЫТНАЯ ПАРТИЯ. ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТАМ». В упаковке оставалось четыре таблетки в прозрачной оболочке. Пол попытался выхватить лекарство, но Энни отдернула руку.

— Когда сожжете роман, дам вам все четыре, — пообещала она. — Думаю, боль пройдет. Вы снова успокоитесь, возьмете себя в руки, я сменю вам постельное белье. Оно, я вижу, мокрое, и лежать вам неприятно. Потом переодену вас. К тому времени вы проголодаетесь, и я вас покормлю. Но если вы не сожжете рукопись, Пол, то не получите ничего. Уж простите меня.

— Вы дьявол во плоти, — прошептал он.

И снова вместо вспышки гнева послышался ее снисходительный, с легким оттенком грусти смех.

— Еще бы! Конечно! А как же иначе? Ведь точно так же рассуждает ребенок, когда мама входит на кухню и видит, что он играет с раствором щелочи, вытащенным из-под раковины. Он не скажет ей того, что сказали мне вы, он еще этого не знает. Он лишь крикнет: «Мама, ты злая». Энни откинула прядь волос с разгоряченного лба Пола, погладила его пальцами по щеке, по шее.

— Мать всегда страдает, если дитя говорит, что она злая. Ребенок плачет, когда у него что-то отнимают, как сейчас вы. Но мать знает свою правоту и потому исполняет свой долг. А я исполняю свой.

Энни три раза хлопнула ладонью по рукописи.

«Таблетки! Таблетки! Где эти чертовы таблетки? Персонажи романа — всего лишь тени, призраки, а таблетки — реальность».

— Ну что, Пол?

— Нет! — прорыдал он.

— Я жду, Пол.

«Кому, черт, возьми, — думал он, — нужна эта сцена из «Гамлета»? На кого ты хочешь произвести впечатление? Ты что, играешь в кино или на телевидении и ждешь, чтобы публика оценила твое мужество? Выбор прост: или выполнить ее требование, или отказаться. Если откажешься — умрешь, рукопись же она все равно сожжет. Тебе остается лишь одно: лежать и страдать из-за книги, которая в лучшем случае выйдет куда меньшим тиражом, чем самый неудачный роман из серии о Мизери. Книги, которую рецензент Питер Прескотт в тонкой, изящной манере играючи изничтожит на страницах величайшего литературного арбитра — еженедельника «Ньюсуик»? Ладно, хватит, пора одуматься! И Галилей сдался, поняв, что с ним шутить не намерены!»

— Я жду, Пол. И готова ждать целый день. Хотя подозреваю, что совсем скоро вы впадете в кому, вы почти в предкоматозном состоянии, а мой богатый опыт подсказывает...

Голос Энни куда-то уплывал.

«Согласен! Дайте мне спички! Принесите паяльную лампу! Снабдите напалмом! Да я готов на эту рукопись атомную бомбу сбросить, если тебе так хочется, сука ты сумасшедшая!»

В нем говорил соглашатель, человек, стремящийся выжить. Но откуда-то из тьмы угасающего сознания звучал другой, слабеющий голос: «Сто девяносто тысяч слов! Пять, как живые, персонажей! Два года труда!» И последняя фраза романа: «Правда?! Да что ты знаешь о подлинной правде?»

Заскрипели пружины. Энни встала.

— Ну что ж! Должна сказать, что малыш вы очень упрямый, но я не в состоянии сидеть здесь ночь, несмотря на все мое желание. Я целый час гнала машину, торопясь домой. Скоро вернусь и посмотрю, не передумали ли вы.

— Сожгите рукопись сами! — крикнул он.

Энни остановилась и обернулась.

— Нет, — отрезала она. — Так поступить я не могу, даже если и хотела бы вам помочь.

— Почему же?

— Потому, — строго пояснила она, — что вы должны сделать это сами, добровольно.

Пол расхохотался; по лицу Энни пробежала тень, и она вышла из комнаты, держа под мышкой рукопись.

* * *

Через час Энни вернулась, и Пол взял спички.

Она положила на жаровню титульный лист; он попытался зажечь спичку, но не смог, выронил. Тогда Энни отняла у него коробок, зажгла спичку и вложила ее Полу в руку. Он поднес спичку к уголку листа, затем бросил в жаровню и зачарованно уставился на пламя, вспыхнувшее и быстро погасшее. Когда скрученная страница обуглилась, Энни щипцами протолкнула золу вниз.

— Так мы будем возиться целую вечность, — заметил Пол. — Я не могу.

— Нет, мы быстро с ним разделаемся, — возразила она. — И все же Пол, несколько страниц вам придется сжечь самому в знак признания вашей вины.

И она положила в жаровню первую страницу «Скоростных машин», которую он написал два года назад в нью-йоркской квартире и помнил наизусть.

Это воспоминание вернуло его в прошлое, как звучащая по радио музыка «ретро» возвращает людей на много десятилетий назад. Он вспомнил, как в тот день мерил шагами квартиру, ходил из комнаты в комнату, беременный книгой. Вспомнил шум улицы и тихий, унылый звон церковного колокола, сзывающего верующих на молитву.

Вспомнил, как сел за стол.

И как его охватило благословенное ощущение начала, чувство, будто он попал в луч света.

* * *

Она заставила его сжечь первую и последнюю страницы романа и еще девять пар страниц из разных мест рукописи, девять пояснила она, — число силы, дважды девять — знак счастья.

Пол, закрыв глаза, откинулся на подушку, вслушиваясь в шум пламени и ощущая его жар.

— Боже мой! — с тревогой воскликнула она.

Пол открыл глаза и увидел, что почерневшие листы бумаги, вылетев из жаровни, плавают в потоке теплого воздуха.

Энни выскочила из комнаты. Пол услышал, как в ведро полилась вода. Он бездумно следил за потемневшим куском страницы, который порхал под потолком и застыл, зацепившись за прозрачную занавеску. Вспыхнула искра, он даже решил, что сейчас начнется пожар, но она тут же погасла, прожегши в занавеске маленькую, как от сигареты, дырочку. Хлопья пепла сыпались на постель. Несколько чешуек сажи осело на руках. Но это сожжение уже ничуть его не трогало.

Энни вернулась и стала собирать по всем углам обгоревшие бумажные клочки. В жаровне металось яркое пламя.

— Боже мой! — вновь простонала она, держа в руках ведро и пытаясь решить, куда лить воду и надо ли ее лить вообще. На ее дрожащих губах выступила пена. Пол заметил, как она облизнулась.

— Боже мой! Боже мой! — Казалось, что все другие слова вылетели у нее из головы.

Хотя и охваченный жутким приступом боли, Пол на мгновение ощутил несказанную радость: он убедился, что Энни Уилкс способна испугаться. Такой она даже ему нравилась.

Вспорхнула еще одна страница, окаймленная голубоватым огоньком. Энни решилась и со вздохом «О, Боже!» осторожно плеснула воду в жаровню. С шипением поднялся столб пара, запахло сырой гарью.

Когда Энни вышла, Пол приподнялся на локтях, заглянул в жаровню и увидел на дне горстку пепла в маленькой лужице.

* * *

На следующий вечер она притащила пишущую машинку «Ройял». Это массивное сооружение пришло из тех времен, когда электромашинки, цветные телевизоры, кнопочные телефоны казались чудесами научной фантастики. У благородно черного цвета машинки по бокам были стеклянные панели, сквозь которые виднелись рычажки, пружинки, шарниры, клавиши; потускневшими от бездействия стальной рычаг перевода строк и возврата каретки торчал сбоку, словно рука голосующего на шоссе путешественника автостопом. Валик покрыт толстым слоем пыли, его жесткую резину испещрили трещинки и ямочки. Расположенные полукругом буквы «РОЙЯЛ» красовались на передней панели. Кряхтя, Энни поставила машинку на постель у ног Пола.

— Ну как? — радостно улыбалась Энни. — Что вы на это скажете?

— Великолепно! — выпалил Пол. — Настоящая антикварная штука!

На лице Энни появилась тень.

— Это не антиквариат! Я купила вещь в хорошем состоянии, но бывшую в употреблении.

— Да, вы правы! — воскликнул Пол. — Как мне в голову не пришло: ведь антикварных машинок в природе не существует! Хорошая пишущая машинка — вещь вечная. Эти старые конторские «телеги» прочны, как танки!

Энни опять улыбнулась. Сердце Пола забилось ровнее.

— Я купила ее в магазине «Подержанные новинки». Глупое название, правда? И хозяйка его глупа, как пробка. Она не просто глупая, а дурная женщина. Ей следовало бы дать такую фамилию, чтобы сразу было видно, что она заурядная представительница древнейшей профессии. Ведь она дважды разведена и живет с барменом. Поэтому, когда вы сказали про антиквариат...

— Машинка выглядит прекрасно, — перебил Пол.

— У нее нет буквы «н», — словно извиняясь сказала она.

— Неужели?

— Да. Посмотрите!

Энни приподняла машинку, и Пол увидел полукруг клавиш, где словно дырка в зубах зияло пустое место.

— Вижу.

Машинка «Ройял» ощерилась, словно предвещая беду.

— Она просила за нее сорок пять долларов, но скинула пять. Потому что в ней нет буквы «н». — Энни самодовольно ухмыльнулась: мол, меня не проведешь!

Пол улыбнулся в ответ. Лекарство действовало. Собеседники чувствовали себя прекрасно и приготовились льстить друг другу.

— Скинула? Сама? Вам не пришлось торговаться?

Энни хитро улыбнулась, словно призывая Пола порадоваться вместе с нею.

— Я сказала ей, что буква «н» есть в фамилии моего любимого писателя.

— И еще она дважды встречается в имени моей любимой медсестры.

Улыбка превратилась в сияние. Невероятно, но щеки Энни порозовели. «Так бывает, — подумал Пол, — когда во рту идола из романов Райдера Хаггарда загорается огонь».

— Какой вы глупый, — жеманно прощебетала она.

— Неужели? — спросил он.

— Хватит об этом. — Она на мгновение отвернулась, но не потому, что слегка смутилась, наоборот, ей было очень приятно; просто хотела собраться с мыслями. Пол порадовался бы такому обороту событий, если бы не пишущая машинка, этот монолит с изъяном, какая-то копия Энни.

— Кресло для вас обошлось намного дороже, — сообщила Энни. — Я потеряла связь с поставщиками медицинского оборудования с тех пор, как... — Она запнулась и нахмурившись, откашлялась. Затем вновь расплылась в улыбке. — Вам уже можно начать садиться, так что деньги не зря потрачены. Вы ведь не сможете печатать лежа?

— Нет.

— Я обрезала для вас дощечку и бумагу принесла.

Энни выпорхнула из комнаты, как девчонка, оставив Пола наедине с машинкой.

Энни вернулась с пачкой бумаги «Коррейзибл Бонд», перевязанной эластичной лентой. Притащила и доску размером три на четыре фута.

— Видите! — Она положила доску на ручки кресла, которое теперь стало напоминать пришедшим в гости скелет. Пол подумал: «Я тоже бесплотный дух, пленник доски».

На доску Энни водрузила машинку. Положила рядом пачку бумаги. Пол просто ненавидел этот сорт на этой бумаге «плыл» текст. Зато Энни была на седьмом небе от радости, еще бы: обустроила рабочий кабинет для инвалида-писателя!

— Ну, что вы скажете?

— Изумительно, — ответил Пол, с легкостью необыкновенной произнеся самую большую ложь в своей жизни. И тут же задал вопрос: — Как вы полагаете, что я буду на этой машинке писать?

— Пол, дорогой! — воскликнула она. Лицо у нее раскраснелось, глаза сверкали. — Я не полагаю, а знаю! Вы напишете новый роман! Самый лучший роман в вашей жизни — «Возвращение Мизери»!

* * *

«Возвращение Мизери»? Полу почудилось, что именно так чувствует себя человек, которому электропилой отхватило руку, а тот, пока ничего не ощущая, тупо глядит на обрубок, из которого хлещет кровь.

— Именно! — Лицо Энни светилось, словно прожектор. — И книга эта будет написана для меня одной. Пол! Она станет гонораром за ваше выздоровление! Единственный экземпляр последнего романа из серии о Мизери! Ни у кого на свете не будет этой книги! Хотя все пожелают ее прочесть! Вдумайтесь, Пол!

— Энни, Мизери давно умерла, — возразил он, но сразу же поймал себя на мысли: «А ведь я могу ее воскресить». Эта мысль наполнила его чувством застарелой брезгливости, но не удивила. В конце концов человек, способный терпеть физические унижения, в состоянии и писать по указке.

— Такого быть не может, — уверенно возразила Энни. — Даже когда я... ну, рассердилась на вас, я знала, что Мизери жива. Я верила, вы не в силах ее убить. Потому что вы хороший.

— Правда? — спросил он, бросив взгляд на пишущую машинку. Та словно ухмыльнулась в ответ: «Мы, старина, сейчас посмотрим, какой ты хороший».

— Конечно!

— Энни, не знаю, смогу ли я сидеть в этом кресле.

— Сможете, хотя сначала будет больно. Больно будет и потом, может быть, еще больнее. Но очень скоро настанет день, хотя время для вас тянется невыносимо медленно, когда боль начнет утихать. Утихать с каждым днем.

— Энни, вы ответите мне на один вопрос?

— Разумеется, милый!

— Если я напишу для вас этот рассказ...

— Нет, роман! Толстый-претолстый, как и все остальные, а может, самый толстый!

— Прекрасно! И если я напишу для вас этот роман, то смогу уехать?

Тень сомнения промелькнула по лицу Энни. Она стала с опаской изучающе всматриваться в глаза Пола.

— Вы говорите так, будто я вас держу в плену.

Пол молча смотрел на нее.

— Я думаю, когда вы закончите роман, то обретете форму и снова сможете общаться с людьми, — ответила она. — Это вы хотели услышать?

— Да, именно это.

— Ну-ну! Я догадывалась, что писатели очень высокого о себе мнения, но мне и в голову не приходило, что они лишены чувства благодарности!

— Для работы мне будут нужны все книги серии о Мизери, если они у вас есть, — помолчав, сказал Пол. — Ведь мой справочный материал остался дома.

— Конечно, они у меня есть! — воскликнула она и спросила: — А что такое справочный материал?

— Набор карточек, в которых содержатся все сведения о сюжетных линиях серии, — объяснил он. — Данные о персонажах и местах действия, объединенные по разным признакам... Там прочерчены временные линии. Есть исторический материал...

Пол заметил, что Энни слушает вполуха. Он снова обнаружил, что ее совершенно не интересует профессиональная сторона его труда. Ведь Энни — воплощенная простота. Энни Уилкс — Идеальный Читатель, женщина, что воспринимает только сюжет, никакого дела до тонкостей его построения ей нет. Она — ходячее воплощение викторианской морали, вечный Читатель. Ей ничуть не интересны справочные материалы и картотека, потому что для нее Мизери и окружающие ее персонажи — живые люди. Техника писательского труда для нее — пустой звук.

— Книги у вас обязательно будут! Правда, они потрепанные, но это значит, что их вдумчиво читают и искренне любят. Разве нет?

— Конечно, — ответил Пол. Хорошо, что хоть на этот раз можно не кривить душой. — Безусловно так.

— Хочу изучить переплетное дело, — мечтательно призналась она. — Сама переплету «Возвращение Мизери». Дома у меня всего одна стоящая книга, мамина Библия. А теперь будет две.

— Прекрасно, — сказал он, чтобы от нее отделаться. Его начинало подташнивать.

— Пойду приготовлю вам грудку цыпленка, картофельное пюре и горошек. И немного сладкого мусса, раз уж вы себя так примерно ведете. Обещаю, что вовремя буду давать обезболивающее. Даже добавлю на ночь таблетку, если надо. Вам обязательно нужно высыпаться, чтобы утром садиться за работу со свежей головой. Работа поможет вам быстрее поправиться.

Она направилась к двери, на мгновение задержалась и неуклюже послала ему воздушный поцелуй.

Дверь захлопнулась. Полу даже не хотелось смотреть на машинку. Он отводил взгляд, но наконец не вытерпел и стал беспомощно ее разглядывать. Она стояла и «ухмылялась». Глядеть на этот инструмент было все равно, что лицезреть «испанский сапог», дыбу или другие орудия пыток, стоящие пока без дела, но всегда готовые к употреблению.

«Думаю, когда вы закончите роман, вы вновь обретете форму и сможете общаться с людьми».

«Ах, Энни, вы лжете и себе, и мне. Нам обоим это известно. Вижу по вашим глазам».

«Тогда откажись».

«Нет, старина, сам ты на это не решишься. Предпочтешь оставаться в живых, несмотря на невыносимые страдания. Ради этого ты даже готов вернуть Мизери с того света. И сделаешь это, хотя бы попробуешь. Но сначала эта машинка постарается разделаться со мной... не нравится мне ее рожа».

Он стал смотреть в окно, за которым сыпал снег. Через несколько минут его внимание вновь привлекла пишущая машинка. Он уставился на нее с каким-то восторгом самоуничижения...

Перевел с английского В. КОНСТАНТИНОВ

Стивен КИНГ

Известный советскому читателю по роману «Мертвая зона» американский писатель Стивен Кинг в своих последних бестселлерах «Мизери» (1987 г.) и «Темная половина» (1989 г.) обращается к теме несвободы творчества, зависимости писателя от диктата зла и насилия.

Писатель Пол Шелдон попадает в автомобильную катастрофу. Его спасает бывшая медсестра Энни Уилкс, страстная поклонница серии романов Шелдона о красотке Мизери. Энни Уилкс привозит писателя к себе домой и начинает «лечить». В изобилии применяя для снятия боли одно из производных морфина, Энни создает у больного стойкое пристрастие к этому наркотику. И позднее беззастенчиво пользуется этим. Лишает его лекарства, чтобы добиться желаемого, или наказать за «своеволие». Ведь Энни Уилкс считает себя вправе диктовать писателю, о чем он должен или не должен писать...

Запертый в комнате Энни, страдающий от боли, Шелдон вынужден писать новый роман о Мизери. Но его не покидает надежда вырваться из заколдованного круга. В конце концов он находит выход...

Полностью роман в переводе на русский готовится к изданию в книжном приложении к журналу «Детектив и политика», любезно предоставившему нам право на публикацию отрывка.

Они пользуются успехом

Книги английской писательницы П. Д. Джеймс неизменно попадают в списки бестселлеров. По мнению американского литературного критика Джудит Крист, если бы Джейн Остин попробовала свое перо в детективном жанре, то в лице П. Д. Джеймс она имела бы достойную ученицу. Одиннадцатый роман Джеймс «Искусы и желания» называют «лучшим из самых лучших». В нем действует герой многих ее романов Адам Далгиш, начальник спецотдела Скотланд-Ярда.

Сначала поползли слухи, будто нью-йоркские издатели придумали специальное устройство, с помощью которого они определяют с точностью до цента все авторские гонорары и авансы, что всех лауреатов премий и стипендиатов крупных фондов они берут на заметку... Оказалось, что небольшая юридическая фирма на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке ведет картотеку, где в виде пирамиды или дерева расположены желтые карточки с именами популярных авторов. Время от времени они перемещаются то вверх, то вниз в зависимости от конъюнктуры рынка. «Древом позора» назвали картотеку сами писатели.

В список двадцати лучших книг, ежегодно публикуемый журналом «Лир», вошел роман французского писателя Лу Дюрана «Ягуар», вышедший в парижском издательстве «Оливье Орбан». Его предыдущая книга «Дэдди» стала международным бестселлером. В новом романе, по свидетельству журнала, писатель «отточил свое мастерство рассказчика, усложнил стиль и усовершенствовал искусство интриги». В книге есть все для того, чтобы увлечь читателя, считает «Лир», — любовная история, секретные службы, терроризм...

В КОНЦЕ НОМЕРА

Вячеслав ПЬЕЦУХ

РАССКАЗ

ПРАВИЛЬНАЯ РОССИЯ

Иллюстрация Виктора СКРЫЛЕВА

«НЕТ, ЭТО НЕПРАВЕДНО говорят, будто русский человек главным образом мямля и балабол. Русский человек, если чего захочет — но только по-настоящему захочет, до нервного истощения, — он стенку головой прошибет, а своего добьется. Не мы ли уходили гитлеровскую Германию уже после того, как Красная Армия дважды была наголову разбита, не мы ли задумали воплотить несбыточную мечту и таки воплотили несбыточную мечту по крайней мере что-то пока еще вертится, движется и вода из кранов течет — с перебоями, но течет.

Все это сейчас само собой подверстывается к тому, что в прошлом году как-то рано поутру в пивной, что на углу Пушкинской улицы и Столешникова переулка, случайно сошлась троица мужиков: Литовкин, Танцырев и Капусто. Капусто представлял собой маленького плотного человечка в рубашке, расстегнутой до пупа. Танцырев отличался тем, что немного приволакивал правую ногу, а на Литовкине были сильно поношенные штаны, то есть не брюки, а именно что штаны, байковая ковбойка с затертым воротничком и кепочка из сатина. Все трое как на закал, чуть глубоко огорчены российским способом бытия и настолько сосредоточились на личных переживаниях, что не замечали ни гадкого вкуса пива, в котором уже с пивком чувствовалась вода, ни кислой вони, которая стояла в пивной, как может стоять погода, ни побитой женщины, которая шаталась меж столов и ко всем приставала с рассказами о своей жизни, ни компании уголовников с дикими лицами, которые точно присматривались, кого бы им пристрелить. По прошествии времени одолев их грусть, запросилась вон, и мало помалу мужики втянулись в продолжительную беседу.

«Раз в жизни посчастливилось — говорит Капусто, — на тебе, как ее, на Курильскую косу в специальный пансионат, а меня там укусила бешеная сенотовидная собака! Вы можете себе представить, на сороковом году жизни человек едет хрен знает куда, чтобы первый раз в жизни по-человечески отдохнуть, и его немедленно кусает за ногу бешеная сенотовидная собака! Ну разве можно жить в стране, где носа нельзя высунуть, чтобы на тебя не набросилось какое-нибудь животное?» Потом, конечно, два месяца ходил на уколы, да еще врачи полгода пить запретили, а то сбешусь. Вот вчера развожу, как раз истекли полгода. Теперь буду неделю квасить, пока кровь не приобретет градус на хроме хортензии».

«А меня, братцы, — что ли, Литовкин, — в сперме произвели! Значит, кончился в нашем цеху припой, ну элементарный припой, которым у нас принято делать дела. День проходит, второй проходит — жизни счастливцы ни пьют, ни курят. На третий день приходим я к счастливцам и говорю: «Вы что, говорю, уродины, остатнего?» Цех третий день стоит из-за отсутствия припоя, а что вам зарплату платят?» А эти гады мне отвечают: «Ты, говорят, Литовкин, не фамилия Литовкин, совсем в ухо!». Во всей стране припоя нет, и ничего, молчит страна, а ты выступаешь, как будто ты лучше всех».

«Хорошо, — говорю, — спорю на ящик водки, что завтра я лично достану тонну припоя хоть чешского производства, хоть американского, хоть какого!». Они говорят: «Черт, мазохист, или проспись!» Ну, свои-то с книжки последние триста рублей купили с задним числом ящик пшеничной водки и, конечно, элементарно вломили его на припой в одном прохиндейском кооперативе. Так мало того, что эти гады из отдела снабжения не отдали мне ящик водки и получилось, что я за собственные средства запустил цех, они меня еще и в сперме произвели! Говорят: «Что-то ты больно деловой, наверное, бы хотел, чтобы мы ребятам из «Памяти» чтобы они пощупали тебя за национальную принадлежность».

«А как твоя фамилия?» — спросил Танцырев.

«В том-то все и дело, что Литовкин, хоть фамилия-то какая я спрашиваюсь с своей!».

Танцырев подумал.

«Фамилия, положим, меняется и меняется. Вот у меня бабка сначала была Семенова, потом Бакмуратова, а под конец жизни вообще Бронштейн».

— Хорошо, посмотрим на вас, — сказал Литовкин.

Танцырев занимал место мастера, а Литовкин — место ученика.

Физиономии у них были такие, что зарплата просит, а выдуплеса и нимо.

Литовкин обиделся. Танцырев [illegible] и сказал: «Ты, дурацкой шуткой и, чтобы [illegible] от нее заразиться, [illegible]».

«У меня такая беда, ребята, — телефон не могу три месяца починить».

«Ну и хрен с ним, — равнодушно сказал Капусто. — Нет телефона — это для меня все. Я видите ли, жизнь лично-семейную, как в подводной лодке, чтобы свести до минимума общение с соотечественниками, потому что я их терпеть не могу».

«Что да то да, — перебил Литовкин. — Лично я уже завтра день хожу на работу в сопровождении шурина (он у меня каратист), а то эти гады из отдела снабжения точно водки пьют. Память-то моей судьбе!».

Танцырев продолжал:

«Я даже картошку и другие продукты первой необходимости у мужиков машинами покупаю, чтобы только из дома не выходить. Кроме того, надо же поддерживать русскую стиль жизни, а русский стиль жизни — преимущественно разговор. Поэтому телефон, ребята, — это для меня все. А это три месяца не в состоянии починить! Звоню на телефонную станцию, говорю: «Телефон сломался, пришлите мастера». А они отвечают: «Мастер будет завтра, с двенадцати до шести». Скоро уже другой квартал пойдет, как они мне обещают мастера с двенадцати до шести».

— Ты что, сам телефон починить не можешь? — равнодушно спросил Капусто.

«Да мне невдомек, с какого конца заходить гнездо! Я же по профессии дизайнер-надомник, и вообще разделение труда выдумали еще древние египтяне!».

Вот что, ребята! — сказал вдруг Литовкин с таким, как бы просветленным и одновременно убитым выражением в голосе, что это у него получилось именно что «вдруг».

«А давайте соберем компанию порядочных мужиков, как-нибудь заработаем конвертируемую валюту, купим у Югославии остров в Адриатическом море и оборудуем там Россию!» Только правильную Россию, без паразитов и дураков!».

«А что?» — сказал Танцырев. — «Мне нравится эта мысль! Отремонтировать наше государство в ближайшем столетии все равно не представляется возможным, жить в такой стране — даже непристойно для культурного человека, так почему бы не построить, извините за выражение, оранжерейную Россию, цивилизованную, зажиточную, духовную, по-настоящему социалистическую?». По-моему, это задорное предложение!».

«Насчет социализма, — сказал Капусто, — это вы оставьте, знаем мы, но что выливается ваш преподобный социализм: сначала «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а потом чека, субботники и разруха!».

Литовкин добавил:

«И насчет духовности есть сомнения. Это еще что за овощ?! Небось, опять самодержавие, православие да народность? Слышали мы эти тексты: сначала духовность, а потом «Бей жидов, спасай Россию»!».

«Ну, тупик свет!» — с горечью сказал Танцырев. — «Не успела выдуться идея, как уже пошли непримиримые противоречия. Хотите, я вам предскажу, чем кончится наша затея с новой Россией, если дойдет до дела: сначала будет Троцкий, потом развенчание культа личности, потом мафия у руля, потом перестройка, Карабах — и нужно будет покупать новый остров у югославов».

«В том-то вся и штука!» — сказал Капусто и обеими руками утер лицо. — «В том-то вся и штука, что, видимо, русский человек и есть корень нашего продолжительного государственного несчастья. Это, конечно, попахивает субъективным идеализмом, но, по-моему, это так. Вообще быть русским человеком, ребята, — большое горе».

«Ты как хочешь, — сказал Литовкин, — а мне обидно слышать такие твои неистовые слова! И вот, не сойти мне с этого места, я докажу, что быть русским человеком, напротив, редкостная удача, потому что, во-первых, он больше среднеевропейского человек, может быть, даже до ненормального человек, а во-вторых, если он поднапрягнется, то вполне способен организовать жизнь на уровне мировых стандартов. Остров в Адриатическом море я, наверно, не потяну, а вот арендовать у какого-нибудь колхоза несколько гектаров жилненного пространства и устроить на нем правильную Россию — это, товарищи, без проблем. Ну, кто со мной? Или грудь в крестах, или голова в кустах!».

Под воздействием пивных градусов Танцырев с Капусто поддержали эту идею, что, конечно, неудивительно, а удивительно будет то, что на другой день, после того как компания проспалась, они от своей затеи не отступились. Нет, это неправедно говорят, будто русский человек главным образом мямля и балабол. Русский человек, если чего захочет, — но только по-настоящему захочет, до нервного истощения, — он стенку головой прошибет, а своего добьется. Сейчас у Литовкина, Танцырева и Капусто двадцать пять гектаров земли под Новым Иерусалимом, обнесенные колючей проволокой в два кола, со своей охраной, вооруженной израильскими автоматами «Узи», и со въездом, который представляет собой уменьшенную копию Триумфальной арки на площади Этуаль. Пятьдесят гектаров у них под спаржей по четвертному за килограмм, каковую они даже экспортируют за рубеж, а на свободной территории поместья стоит поселок. В поселке с пяток жилых домов прекрасной архитектуры, здание клуба, выстроенное в стиле нарышкинского барокко, магазин с зеркальными стеклами, в котором, как говорится, только черта лысого не купить.

Танцырев с Капусто — это еще ладно, а Литовкин, что называется, забурел: у него лакированный «Руссо-Балт», который он за бешеные деньги откупил у таллиннского автоклуба, с восьмицилиндровым кадиллаковским двигателем и салоном, обитым кожей, пара бурдастых гончих, гардероб от Кардена, и новая жена, уведенная у министра электронной промышленности. Надо его видеть, когда он с женой пьет на лужайке перед домом английский чай, сидя в белоснежном плетеном кресле, на Литовкине палевый костюм из фланели и темно-коричневый галстук в крапинку, на лице что-то положительно неописуемое, рядом в траве стоит телевизор, который показывает французскую спутниковую программу, гончие резвятся чуть в стороне, а жена помолчит-помолчит и скажет:

— Дорогой, хочешь я приготовлю тебе «манхэттен»?

И вот как-то раз идет Танцырев в магазин купить ананас на сладкое и видит: Литовкин оседлал бог весть откуда взявшееся бревно, на нем сильно поношенные штаны, то есть не брюки, а именно что штаны, байковая ковбойка с затертым воротничком, кепочка из сатина, и глядит он печальными глазами куда-то вдаль. Танцырев, понятно, остолбенел, но нашел в себе силы поинтересоваться:

— Ты чего сидишь?

Литовкин ему в ответ:

— Да вот сижу думаю — и он несколько деревянно сделал рукою, указывая окрест, — думаю, ну и что?».

ШТРАФНОЙ УДАР

Исповедь футболиста, проданного «за пару бутербродов»

ПРИЧИНЫ БЫТЬ встретившимся мне тогда заяком в Гельзенкирхене я раньше [illegible] Эрлингу выехать в Дюсельдорф. Там в западногерманском футбольном мире живут Александр Бородюк, бывший центрфорвард московского «Динамо», а ныне — тренер команды «Шальке-04» из хорошего рурского города. Он был первым советским футболистом, приглашенным в ФРГ, отсюда и почетное прозвище, которое сопровождает его во всех домашних матчах.

Мы познакомились в Москве при аналогичных обстоятельствах. Футбольная дружба [illegible] Бонне, вот заговорить которого имеет шанс [illegible]. Перед началом товарищеских матчей с ветеранами нашего клуба Бородюка. Клубы с особыми традициями: до второй мировой войны не раз брали звание чемпиона Германии, завоевывали медали и кубок страны. Футбольные старожилы правда поговаривают, что это были времена фюрера Гитлера и отсюда якобы в успехи Гитлера [illegible] вселяли в души и укрепляли свое влияние среди рабочего класса Рура большинство из которых [illegible] «Шальке». Кстати, и сегодня на его матчи собирается до 70 тысяч зрителей, даже знаменитая мюнхенская «Байерн» не может похвастаться такой преданностью болельщиков.

Трудно судить, сколько в этой истории о Гитлере правды, знаю лишь, что и до войны [illegible] мнение игроков «Шальке» исправно прислушивались в Старую ратушу, за ними охотились менеджеры лучших клубов не только ФРГ. Сейчас это в прошлом. Где-то 4—5 лет назад «Шальке» не смогла больше соответствовать требованиям футбольного и финансового мира того времени, были проданы или завершили карьеру, на новых денег не нашлось. И «Шальке», а для западногерманских болельщиков это [illegible] «Спартак», покинула высшую бундеслигу. Сегодня она просто борется за место под солнцем, входит в пятерку лучших команд первой лиги. Надеются на возврат в высший футбольный свет руководство, западные и восточные клубники связывают в первую голову с Бородюком и недавно присоединившимся к нему другим олимпийским чемпионом — Владимиром Тютыным из «Динамо». Как сообщила всезнающая «Бильд», приобретенного как и Бородюк за «пару бутербродов» [illegible] на внушительные суммы, выплаченные советским спортивным организациям за «первоклассный товар».

Я хотел, чтобы Бородюк [illegible] руку он к моей радости [illegible] внесения ясности в денежный вопрос.

Я не имею права говорить о конкретных суммах, так записано в контракте. Не буду раскрывать [illegible] зарплату, ни суммы премиальных за игры [illegible] клуба. За разглашение — штраф, а [illegible] клуба. Никто в команде не знает доходов [illegible], знаю лишь, что нынешними условиями доволен.

Приоткрою занавес, хоть частично. Команда предоставляет и оплачивает Александру четырехкомнатную квартиру, типичную по западногерманским меркам в скромном районе, недалеко от стадиона, автомашину «мерседес» среднего класса, бензин, телефон, питание — естественно, за свой счет. Из разговора я понял, что Бородюку не надо «отбегивать» значительную часть зарплаты, совпадает это на еще какой-то особый счет, как это было с советскими спортсменами ранее. Свое «законное» получает лишь когда то родное ему «Динамо». Почему «когда то»?

Это долгий разговор, начну с самого начала. Я благодарен своей команде за многое, чего достиг вместе с ней за 8 лет. Благодарен тренеру Бышовцу, который взял меня в олимпийскую сборную, помог стать олимпийским чемпионом. Мои отношения с ним однако складывались трудно — в человеческом плане и как игрок тренер. Чтобы [illegible] еще больше, я решил уйти. У меня было [illegible] предложений из разных команд, но я остановился на «Спартаке», который рвался тогда Бесконе и киевском «Динамо». Руководство московского «Динамо» было против. Пильгуй сообщил обо этом и заявил, что никуда не уйдешь, а будешь продан либо в Италию, либо в ФРГ. Как офицеру, старшему лейтенанту, мне было практически невозможно сменить в другую советскую команду, так как руководство заявило, что отправит меня служить во внутренние войска — будешь мол сторожить окопы или во дивизии в части, в казарме. Когда же я согласился на [illegible], [illegible] сразу аттестовали в [illegible]. Как стыдно была формальной, так и ее окончание.

И все-таки почему именно «Шальке»?

Готовился матч в честь Льва Яшина. В Москву приехал спонсор этой встречи — представитель фирмы «Мюллер» Андреас Граевский. Вместе с Пильгуем и другими представителями руководства «Динамо» он подготовил мой контракт. С подробностями его я не знакомил, [illegible] договорились, не знаю. Слышал лишь, что «Мастер Мильх» и «Шальке» считали дело с Бородюком решенным, угрозы и что если я не приеду в Гельзенкирхен, мне напомнят проблемы с матчем Яшина. Я присутствовал [illegible] на последнем этапе — при подписании контракта. Перед этим правда побывал в ФРГ — на месте будущей работы, посмотрел обстановку. Встретили меня хорошо, [illegible] на пару тренировок, познакомился со всеми командами, дал согласие. Контракт заключили на три года. Сегодня я человек «Шальке», клуб вправе продать меня, [illegible] условия покупателям. Мне нельзя даже [illegible] на тренировках в майке сборной СССР — только «футболка» «Шальке».

За Бородюка «Динамо» получило две автомашины «Ауди» и микроавтобус «Мацда», компьютеры, валюту, когда [illegible] он не знает. Не исключает, на легковушках ездит руководство старого клуба, либо общество.

Действительно, это был трансферный контракт, совсем как на Западе, с одной немалой разницей — там футболист участвует в этой сделке, знает, чего он стоит, получает часть этой суммы.

Если честно, меня не волнует, куда пошли эти машины и компьютеры, свойство другое: мы не умеем заключать деловые сделки, хотя чиновники Госкомспорта изображают из себя профи, требуют за посредничество проценты. Делается все это однако непрофессионально, недостойно хватаются за миллер. На Западе смеются над нами, когда подписывают контракты, поймали мол, русских лопухов. Каждому спортсмену считаю нужен не Госкомспорт, а менеджер, как на Западе. Менеджер владеет материей, действует в интересах футболиста, за что заслуженно получает потом и свое.

Играет Александр успешно, хотя начал с трамм. Участвовал на день нашей встречи в 20 матчах (из 30), но за [illegible] 14 мячей, больше всех в команде. После последних трех встреч ушел вдруг с поля без гола, что привело в беспокойство руководство клуба, в чем дело, нужна помощь?

Отношение к футболистам здесь своеобразное, никто за тобой не следит, не кончится. Тренировки два раза в день по паре часов, в 10 и 15.00. Иногда даже однораловые. В день игры собираемся на стадионе в 10 часов, тренируемся, получаем установку на игру, которая начинается, как правило, в 18 часов. После матча в машину и по домам. Не то что у нас в Союзе! Там три дня до игры собирают на базе 30 мужиков и «закрывают на ключ». Вот и возникает конфликт — «нарушения спортивного режима». Вспоминаю подготовку к Олимпиаде в 1988 году. Дома тогда не был почти целый год. Здесь же львиную долю времени распоряжаешься собой сам. Но и отвечаешь за свою спортивную форму. Подзапустил — вылетишь из основного состава, а значит прощай премия. В более мягком случае получишь штраф. Так нас всех наказали за ничью с одним из аутсайдеров — «Байройтом».

И все-таки не огорчительно ли футболисту первой сборной СССР играть в первой лиге, пусть и западногерманской? Не отразится ли это на подготовке к чемпионату мира в Италии?

Конечно немного жаль. Как ни парадоксально это звучит, но в бундеслиге играть легче. Там на поле выходят 11 примерно равных по силам игроков, с ними легче найти взаимопонимание. А здесь все на себя тянут 6—7 человек, а остальные выпадают из ансамбля. Потом, сами немцы говорят, что в первой лиге футбол намного жестче, более силовой. О сборной. Думаю, игра в «Шальке» мне не помешает, объясню почему. Уровень нашего футбола в последнее время упал. Выиграно это тем, что в нем существует много договорных матчей. В результате чисто спортивного интереса уже нет. Занимаются этим и тренеры и чиновники от спорта, бывает и сами игроки. Механизм здесь прост: тренер доводит «установку на результат» через круг своих доверенных лиц в команде. Большинство подвержены практически все. Возможно, по-второю, возможно, не избежал «Спартак» при Бескове, не знаю, как сейчас, и далеко от Москвы. Когда я был в «Динамо», то в большей степени мы тоже сторонились таких игр, хотя если совсем уж начистоту, то играло такие матчи и «Динамо». Доказать все это однако практически невозможно.

За нашим разговором внимательно следит пятилетний сынишка Бородюка, живой, смышленый Антон, и его милая супруга Галина. Они большая опора Александру, особенно супруга, говорит по-немецки, помогает ему общаться с местной прессой, отвечает на многочисленные звонки. Бородюк овладел пока лишь футбольным минимумом немецкого. Он убежден, однако, что язык надо знать прилично. Это его напутствие другим советским футболистам, собирающимся за рубеж.

ГЕЛЬЗЕНКИРХЕН

Беседу вел В. ЗАПЕВАЛОВ

Фото И. ХЕМЗЕ
(Из альбома «Интерпресс-фото»)

Главный редактор Ф. БУРЛАЦКИЙ

Редакционная коллегия: Ч. АЙТМАТОВ, Б. ГАЛАНОВ, А. ГОЛОВЧАНСКИЙ, В. ГОРБУНОВ, Ю. ДРУНИНА, Ю. ЗАРЕЧКИН, В. КАРПОВ, Е. КРИВИЦКИЙ (зам. главного редактора), А. ЛАТЫНИНА, В. МОЕВ (отв. секретарь), Ю. ПОРОЙКОВ (первый зам. главного редактора), О. ПРУДКОВ, С. СЕЛИВАНОВА, В. СОКОЛОВ, В. СУББОТИН, А. УДАЛЬЦОВ (зам. главного редактора), А. ХАКИМОВ, Ф. ЧАПЧАХОВ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Костянский переулок, 13. АДРЕС ДЛЯ ТЕЛЕГРАММ: Москва К-54, Костянский пер., 13; ДЛЯ ПИСЕМ: 103654 ГСП-3, Москва К-51, Цветной бульвар, 30; справочный телефон — 200-24-17.

А 00558 Номер подписан к печати 28.IV.90 г. Типография «Литературной газеты» Москва, Ц., Цветной бульвар, 30

Зак. 433 ИНДЕКС 50067